



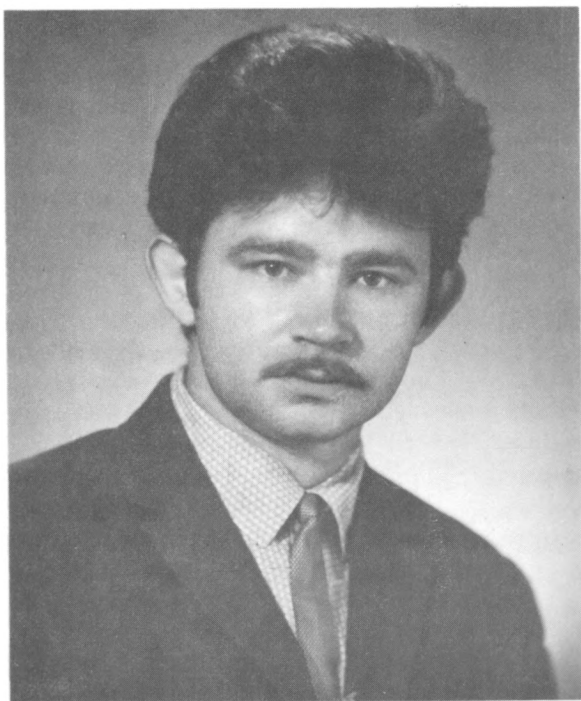
СОВРЕМЕНИК

SOVREMENNİK

No. 47 - 48

ТОРОНТО
1980

Александр ГИДОНИ

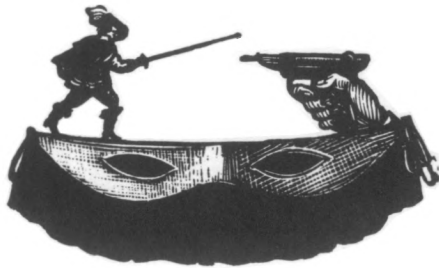


АЛЕКСАНДР ГИДОНИ – писатель, журналист, историк и общественный деятель. Является главным редактором русского независимого журнала "Современник". Он – автор трех поэтических книг ("Без России – с Россией", "Поэмы", "Лирические поэмы"), романа в стихах "Дон Жуан", пьесы "Трое в одной камере", повестей "Иосиф и его неприятели" и "Накипь". Его оригинальная концепция философии истории отражена в опубликованной в 1978 году брошюре "Синкродуализм". Перу Александра Гидони принадлежат многочисленные статьи по вопросам истории, политики, литературы, философии, публиковавшиеся как в СССР, так и на страницах эмигрантской прессы.

СОЛНЦЕ ИДЕТ С ЗАПАДА

Книга воспоминаний

**Торонто, Издательство „СОВРЕМЕННОК”,
1980 г.**



Автобиографическая книга АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ "Солнце идет с Запада" – это прежде всего интереснейший рассказ об эволюции бывшего советского человека от его коммунистических убеждений к вере в демократические идеалы Свободного Мира. Александр Гидони участвовал в подпольном движении в СССР, был арестован КГБ и провел четыре года в советской тюрьме как политзаключенный. Он руководил пятидневной забастовкой узников Потьминского лагеря (Мордовия) в период так называемой "хрущевской оттепели". После выхода из тюрьмы А.Гидони работал преподавателем вузов и журналистом. Он покинул Советский Союз в мае 1975 года и с августа того же года живет в Канаде (Торонто).

Необычайное стечение жизненных обстоятельств, отраженное в книге "Солнце идет с Запада", придает ей детективный интерес. Александр Гидони рассказывает о событиях подпольной борьбы в СССР послесталинской эры, о жизни политзаключенных, о судьбе советской интеллигенции. С особым увлечением читаются главы, посвященные политическому процессу над Гидони (одному из самых первых в хрущевское время), забастовке политзаключенных, попыткам КГБ объявить Гидони "американским шпионом". Став объектом манипуляций КГБ, Гидони выдержал труднейший поединок в борьбе с этой могущественной организацией. Обо всём этом рассказано с большой драматической силой.

Весьма интересны также главы, описывающие способ, благодаря которому Гидони, с помощью его жены, получившей в Италии политическое убежище, удалось переиграть КГБ и покинуть Советский Союз.

Книга "Солнце идет с Запада" отмечена высоким интеллектуализмом, философски-психологической глубиной и написана прекрасным стилем, вообще характерным для писательской манеры Александра Гидони.

Цена книги: 19 долларов.

Заказы направлять по адресу Издательства и журнала "Современник":

SOVREMENNİK
PO Box 2217, Station 'C'
Toronto, Ontario
CANADA M3N 2S9

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
Глава 1. Костромская коллизия	11
Глава 2. „На заре туманной юности...”	22
Глава 3. Дыша „оттепелью”	37
Глава 4. Начало Подполья	46
Глава 5. Канун ареста	58
Глава 6. В тени Ленина	73
Глава 7. Завязка тюрьмы.	80
Глава 8. Тюремные встречи	94
Глава 9. На ринге следствия.	101
Глава 10. Мой „лейпцигский процесс”	117
Глава 11. После суда.	144
Глава 12. От Красной Пресни до Потьмы	157
Глава 13. Странно-нестрашная Потьма	163
Глава 14. Пять жарких сентябрьских дней	188
Глава 15. Прелюдия в Саранске.	245
Глава 16. Детективная карусель	260
Глава 17. Конец детективного блефа	285
Глава 18. Сделка с дьяволом.	301
Глава 19. Операция „провал”	314
Глава 20. Круги по воде.	326
Глава 21. На финише лагерной жизни.	341
Глава 22. Поединок с бытом	360
Глава 23. За кулисами дела ВСХСОН	384
Глава 24. Моя последняя ставка	416
Глава 25. Фигуры расставлены — дебют!	444
Глава 26. Перед решающим поворотом	464
Глава 27. КГБ делает шах	472
Глава 28. На весах диссидентской судьбы	489
Глава 29. Патовая ситуация	516
Глава 30. Мой „день Победы”	525
Эпилог	534

SUN RISES IN THE WEST

by

ALEXANDER GUIDONI

The autobiographical book by Alexander Guidoni *Sun rises in the West* is primarily a very interesting story on evolution of a former Soviet man all the way from his communist convictions right through to embracing the faith in democratic ideals of the Free World. The book's author took active part in the underground movement in the USSR, and later was confined in the political prisoners' camp in Mordovia. While imprisoned, he led the strike of political prisoners during Khrushchev's so-called 'thaw period'. After his release, Guidoni worked as university lecturer, scholar, journalist, and finally became a political emigrant, leaving the Soviet Union in May, 1975.

The author's unusually complex life destiny enhances the story with a detective-yarn suspense. Alexander Guidoni presents unique activities of the underground anti-regime Soviet groups in the USSR, shows the life of political prisoners of the post-Stalin era, and of the Soviet intelligentsia. The chapters relating to the political trial of Guidoni – one of the first of Khrushchev era – present enormous interest, and so is the 5-day long strike of political prisoners in Mordovia, and KGB attempt to make Guidoni an 'American spy'. After becoming the object of KGB's manipulations, Guidoni accepted an intense duel with that mighty organization. This struggle is conveyed with a high dramatical power, reflecting a vividly picturesque drawing of KGB's operational ways and methods.

Author supplies abundant mass of detail on political life in the USSR, little known by Westerners. The pulse of dissident movement and ideological processes taking place within the depths of the Soviet society are shown in their stark amazing clarity. Especially impressive are the book's chapters describing planning of escape from the USSR by Guidoni and his wife. After his wife had gained political asylum in Italy, and after a prolonged attack of the KGB, the author finally left for the West.

The all-encompassing dramatism of the story is augmented by its high intellectualism, and philosophical-psychological saturation. The book benefits from the author's beautiful style, for Guidoni is a professional writer and journalist. His original ideas and concepts make this story completely unique among those about the USSR previously published in the West.

The text of the book in Russian was never published, except two chapters in Russian literary magazine *Sovremennik* in Toronto in 1977.

СОВРЕМЕННОК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ



Благодарю Тебя, Творец, благодарю,
Что мы не скованы лжемудростию узкой,
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский.
Что пламенем одним с Россией я горю.

Аполлон Майков

1980

№ 47 - 48

1980

Торонто

Канада

СОВРЕМЕННОК

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ

в 1960 г.

Журнал издает Редакционная коллегия

Главный Редактор – А.Г. Гидони

Ответственный Секретарь – Г.А. Румянцева

Subscription prices:

For institutions – \$30.00

Individual subscriptions – \$25.00 for 4 issues.

Senior citizens – \$16.00 per year

Single copy – from \$7.00 to \$10.00

Copyright c 1981 by The 'Sovremennik' Publishing Ass'n Inc.

Sovremennik Publishing Ass'n Inc.

SOVREMENNİK

P.O. Box 2217, Station 'C'

Downsview, Ontario

CANADA M3N 2S9

Sovremennik

CONTENTS

Contents in English	3
Summary	5

Creative prose, Essays, Criticism, Poetry

Nina Muravina. New roads and old quarrels	6
Alexander Guidoni. Poems	18
K. Akula. Haravotka. <i>Chapters from novel</i>	23
Galina Rumiantseva. Poems	31
E. Karmazin. Writer and economics	35
V. Ingul. Phantasy. <i>Poem</i>	39
Michael Armalinsky. Poems	40

Literary Heritage

Catherine Kuleshov. Vladimir Soloviev's influence on Blok and Bely	46
Alexander Guidoni. Mayakovsky and Yevtushenko	54
Vladimir Ufland. Poems	64
Ernst-Yeguda Mendelson. Two poems	65

Historiography and Philosophy

T. Hunchak. Pan-Slavism or Pan-Russianism	66
D. Panin. Regimes gurus. Phenomenon of Zinoviev	76
Oleg Bukov. Mediocrities of <i>Kontinent</i> magazine	90

Creative prose, Essays, Criticism, Poetry

P. Petrov. Boris and Liza. <i>Short story</i>	94
Anton Nicol'sky. Poems	98
Yury Grigorov. Hermetism of poetry or poetization of hermetism? (<i>Poetry of Joseph Brodsky</i>)	99
V. Pereleshin. Two poems	118
N. Zambrzycki. The world-renown scholar	119
S. Tol. Poem	124

F O R U M

Russians against Russification	125
Galina Rumiantseva. On celebrating some jubilees	127
Editor's Notes	130
A.G. Judas composes an obituary	133
<i>Letters to the Editor</i>	134
Alexander Udodov. Soviet-Chinese war?	138
V. Prussakov. Russians have come!	141
A. Guidoni. Social engineering: Non-hazardous risk	144
K. Akula. Up with satire! <i>Poem-humoresque</i>	148
<i>Chronicle</i>	150

Bibliography

Yury Grigorov. Voice of Zarubez'ye, Vol. 13-17. <i>Vsevolod Runin</i> . Guzel Amalrik. Memoirs from my childhood. <i>E. Vertlib</i> . Literary ideas in activities of Slavophiles. Moscow, 1978. <i>Vladimir Rou-</i> <i>dinsky</i> . K. Mochulsky. Spiritual world of Gogol. Paris, 1976. <i>K.</i> <i>Akula</i> . Barbara Amiel. Confessions. Toronto, 1980.	151 - 165
Notes and announcements	166
Contents in Russian	171

S U M M A R Y

The current issue of *Sovremennik*, pp. 47 – 48, continues sketches *New trails and old polemics* by Nina Muravina. The author dwells on many interesting problems, tied-in with analysis of Russia's historical destinies, contemporary dissidents and morals of Russian emigration.

The issue contains two chapters of the final book of trilogy *Hara-vatka* by well-known Byelorussian writer K. Akula. The chapters picture the life in Minsk, the capital of Byelorussia, occupied by Germans in World War Two.

Poetry includes poems by M. Armalinskiy, A. Guidoni, S. Tol, V. Uf-land, V. Pereleshin, G. Rumiantseva and others.

Among historico-philosophical and literary articles the following should be noted: concluding chapter of *Pan-Slavism or Pan-Russianism* by Prof. T. Hunczak and Prof. T. Kuleshov's article *Vladimir Soloviev's influence on Blok and Bely. Mayakovsky and Yevtushenko* by Alexander Guidoni notes the 50th anniversary of Mayakovsky's suicide. Professor Zambrzycki writes on the jubilee of well-known scholar Prof. Seduro.

In his article *Hermetism of poetry or poetization of hermetism* Yury Grigorov provides critical insight into the poetry of Joseph Brodsky. Distinguished Russian writer-scholar D. Panin in his article *Phenomenon of Zinoviev*, analyses weaknesses of Zinoviev's social standing and satire.

Other contributing authors include P. Boldyrev, O. Bukov, A. Udodov, V. Rudinskiy, E. Karmazin, E. Vertlib.

The book reviews include *Confessions* by Barbara Amiel, reviewed by K. Akula, *Memoirs* by Guzel Amalrik, reviewed by V. Runin, and notes on emigree magazine *Golos Zarubezhya* by Y. Grigorov.

Forum includes declaration of *Sovremennik* editors, *Russian against Russification*, which condemns the Soviet policies of national oppression in the Ukraine.

НИНА МУРАВИНА

НОВЫЕ ДОРОГИ И СТАРЫЕ СПОРЫ

(Продолжение. Начало в № 45-46)

6. Ночные встречи.

Ну и транспорт! Всё рассчитано на туристов, имеющих собственные машины. Остальных не принимают в расчет. Я опоздала на утренний поезд всего на полчаса. Следующего надо прождать восемь часов. Вот наказание! Не выдержав и половины срока, я добралась до узловой станции Понте-Леччио. Было заполдень. На перроне пекло, как на сковороде, поджаривающей грешников в аду. Нечем дышать. Я вошла в пустой зал ожидания, растворила обе двери настезь и села на сквозняке. Там все-таки были тень и движение воздуха.

Когда жара начала спадать, прошел поезд из Сартены, и в зале появились делавшие пересадку пассажиры. Среди них была молодая, высокая, сухошавая блондинка с длинными волосами в мелких, выгоревших добела колечках; в перехваченном узким пояском сиреневом полотняном платье с пышными, как на украинских кофтах, рукавами.

– Не немка, не француженка и не итальянка, – сообразила я на глаз. – Наверно, американка? Там женщины тоже самостоятельные и не боятся путешествовать одни...

Я справилась по-французски, который час. Она не поняла вопроса и виновато заморгала.

– Ду ю спик рашен? – спросила я просто так, без всякой надежды на положительный ответ.

– У него в школе учила! – Ее худое, темное от загара лицо с мелкими чертами осветила радостная улыбка. Она поставила на пол две большие плетеные корзинки и села на скамейку рядом со мной.

Тут же она сообщила мне, что ее зовут Илика. Она – венгерка. Вышла замуж за швейцарца, работающего в Женевском университете. Поступила учиться на этнографический факультет. У мужа каникулы осенью. У нее – летом. У них есть знакомые, которые каждое лето ездят отдыхать в лагерь нудистов в Сартену. В машине было лишнее место и они взяли ее с собой.

Илика, так же, как и я, рада была, что может поговорить по-русски. В Корсике редко представляется такая возможность...

– Это только вначале странно, а потом быстро привыкаешь. Все даже за покупками в магазин ходят голыми. Голые люди даже больше похожи друг на друга, чем одетые, – делилась она впечатлениями. – У нас в лагере не было никаких супер-секси. Обыкновенные мужчины и женщины. Если б не вышли деньги, я бы там еще пожила. Завтра в восемь утра сяду на пароход. В Женеве я всегда смогу подработать уроками венгерского.

– В Венгрии люди лучше, чем в Европе, – грустно добавила она, как бы отвечая на промелькнувший у меня в уме вопрос, почему она не одолжила денег у своих друзей. – У меня все еще венгерский паспорт. Когда-нибудь я вернусь домой.

– Деньги играют здесь ббльшую роль в человеческих отношениях, чем у нас, –

согласилась я. — Мы к этому долго не хотим привыкнуть.

...В Бастии, пока я ждала на вокзале, железнодорожники предупредили меня, что в Кальви все гостиницы переполнены немцами. Цены взвинчены. Многие туристы предпочитают ночевать в палатках на пляже. У меня с собой была палатка, а у Илика в одной из поетеных корзинок лежал спальный мешок. Но Илика боялась, что на пляже на нас могут напасть мужчины и считала, что самое лучшее — снять в гостинице номер на двоих. Пока мы решали, как быть, с грохотом подошли два ободранных вагончика, похожие, как и все корсиканские поезда, на вышедшие из употребления вагоны метро. Мы сели. Вагончик тронулся. Напротив нас дымили скрученными из тонких бумажек самодельными папиросами две молодые датчанки богатырского телосложения в открытых майках и джинсах, обтягивавших рубенсовские бедра и торсы. Одна — рыжая, другая — жгучая брюнетка. Весь вагон разговаривал по-немецки. Поезд прыгал с горы на гору, взбирался с перевала на перевал. Вагончики отбивали колесами рокенролл и подбрасывали нас над скамейками, как мячи. Мы смеялись и подскакивали то вверх, то вниз. Датчанки ехали в кэмпинг в Кальви. Немцы — в Галерию. Одни только мы не знали, где нам придется ночевать. Когда поезд перепрыгнул через последний перевал и, наконец, спустился к морю, солнце уже зарылось в плывшее над горизонтом пушистое темно-серое облако. Наступили сумерки. В одиннадцать часов, когда вагончики с трехчасовым опозданием дотащились до Кальви, не видно было ни зги и невозможно было угадать, с какой стороны вокзала находится пляж. Камеры хранения на вокзале не оказалось. Пришлось зайти в кабинет к начальнику вокзала и попросить у него разрешения оставить вещи до утра. Это был краснощекий, цветущий молодой человек. Вслед за нами вошел смуглый худощавый паренек — машинист, который привел поезд.

— Где здесь пляж? — спросила я.

— Внизу, в двухстах метрах.

— Там безопасно?

— Ну, конечно.

Мы вышли. Но не успели пройти и пяти шагов, как машинист догнал нас и показал на белевший в темноте домик:

— Идите туда! Это общежитие для служащих вокзала. Там вы найдете и койки, и удобства.

Мы решили, что это все-таки лучше, чем искать ночью пляж, и поплелись за ним. В домике оказались кабинки: в каждой по две полки. Поколебавшись, Илика поставила на пол корзину со спальным мешком. Я забросила рюкзак наверх. Тут появился начальник вокзала и показал нам свою кабинку: она была чище других. Стены ее были оклеены афишами футбольных матчей.

— По-вашему, нам удастся здесь провести ночь спокойно? — испытующе заглянула я ему в глаза. Он промолчал и пожал плечами.

Поднявшись по каменной лестнице, мы очутились в городе, на улице, состоявшей из баров. Мы сели под полотняным тентом и заказали оранжад и воду со льдом. Залпом выпили содержимое маленьких бутылочек и потребовали еще. Бармен положил на столик счет на двадцать франков. Вода оказалась дороговатой и со следующими бутылочками мы уже не спешили, хотя по-прежнему умирали от жажды. Когда мы маленькими глотками тянули сок, разбавленный ледяной водой, к нам подсел обритый под машинку хмурый мужчина.

— Легионер! — представился он. У него было иссиние-смуглое лицо уроженца Средиземноморского бассейна. Его можно было принять и за араба, и за итальянца, и за еврея. В бокале у него пенилось золотистое пиво. Мы пили свое, а он — свое, и при этом он важно объяснял нам, для чего существует на свете Иностранный легион.

— Вы итальянец? — спросила я.

— Я — легионер.

— Ливанец? Сириец?

— У легионера нет национальности и нет прошлого.

Одно из двух: либо у него был раздражительный характер, либо он разыгрывал из себя перед женщинами "загадочную личность". Нам стало скучно с ним.

— Как хочешь, а я возьму корзинку и пойду искать дешевой отель, — решила вдруг Илика. — Ночевать в мужском общежитии так же опасно, как и на пляже.

Я хотела возразить, что общежитие — все-таки официальное место, но вспомнила уклончивый взгляд начальника вокзала и запнулась.

Зачем, в самом деле, самой лезть на рожон? Одна я там не останусь. Лучше просиму на скамейке у вокзала до утра. Осталось недолго.

Вдруг у тротуара остановилось такси. Из него вышла смазливая женщина. Она принялась торопливо обнимать и целовать его. Я догадалась, что они совершенно чужие, и отвела глаза. Женщина ушла, а военный кивнул нашему соседу и попросил разрешения к нам подсесть.

— Кто ваш товарищ по национальности? — упрямо спросила я.

— Итальянец.

— Но почему он это скрывает?

Первый легионер бросил на нас свирепый взгляд и, не прощаясь, вышел из-за стола.

— А меня зовут Раймон. Я сержант, — весело отрекомендовался второй, идя навстречу моему любопытству. Он держался, как человек, которому нечего скрывать, и этим сразу расположил меня к себе.

— Заказывайте, что хотите! — предложил он.

— Ликер, — прошептала Илика, поняв, что угощение ни к чему ее не обязывает.

— А мне — мороженое.

— Кто эта женщина, которой так не хотелось с вами расстаться? — тут же задала я нескромный вопрос.

— Туристка из Германии. Замужняя, — с прежней чистосердечной готовностью объяснил сержант.

— А как же муж?

— Ну, это уж не моя забота.

Когда Илика выпила рюмку до дна, я поняла, что ничего о ней не знаю. Она стала другая: глаза покрылись томной поволокой, на губах заиграла сладкая улыбка.

— Боже мой, сколько сразу новых людей! — промурлыкала она томным голоском. — Какая ты смелая, а я всех боюсь.

Хотя у нее был венгерский паспорт и она мечтала когда-нибудь вернуться домой, она уже настолько осмелела, что, отбросив осторожность, призналась:

— Знаешь, раньше я преклонялась перед Советским Союзом и верила в коммунизм. Но всё кончилось после поездки в Сочи. Там я увидела, в какой роскоши живет ваша элита. Теперь я уже не верю ни в какой коммунизм — ни в ваш, ни в наш... Но все-таки я люблю русских!

Когда мы распрощались с сержантом и спустились по каменной лестнице, на городских часах пробило полночь. Внезапно от стены отделилась человеческая фигура. Это был наш машинист.

— Я хочу показать вам другую квартиру, — предложил он. — Идите за мной!

Он внушал доверие, и мы пошли. Неподалеку от общежития оказался еще один маленький домик. Матье (так зовут машиниста) живет в Бастии, но летом железная дорога предоставляет ему еще одну квартиру — в Кальви: две комнаты, разделенные коридором.

— Если б мой отец увидел эти серые стены без ковров, он бы в ужас пришел! — оправдывается он за холостяцкий беспорядок. — Мой отец — хозяин гостиницы. Может быть, вы слышали про Отель Ройаль?

— Мы не любим роскошь. Спасибо. У тебя хорошо.

Из двух комнат, предложенных гостеприимным Матье, мы выбираем ту, которая сообщается с душем, и, довольные, возвращаемся в общежитие за вещами. Стучимся в дверь: никто не открывает. Наконец, Матье приводит из бара товарища. Кто-то узнает его голос. Дверь распахивается, и мы оказываемся лицом к лицу с женщиной, чем-то похожей на ту, которую видели с Раймоном наверху. Волосы и одежда у нее в беспорядке. На щеках пылает лихорадочный румянец. В глазах — ужас.

– Почему она так испугалась? – спрашиваю я Матье, когда мы возвращаемся.

– Думала, муж за ней прибежал!

Я раскладываю на кровати простыни. Илика расстилает на полу, на матрасе, спаль- ный мешок.

– Позавчера у одного нашего друга был день рождения, – рассказывает тем вре- менем Матье. – Мы собрались в баре. Заходят немцы – муж и жена. Садятся за со- седний стол. Он – красивый, молодой. Знакомимся. Говорит, что у него в Берлине – собственный ночной клуб. Дал адрес. Пригласил в гости. Мы их приняли в компанию. Пили мы лото. Начали с шампанского. Кончили вашей водкой. К утру мужчины валя- лись без чувств. А эту немочку никакой алкоголь не берет. Так привыкла, что ведром с ног не свалишь! Пьет больше всех и танцует, как ни в чем не бывало. А сегодня при- бежала тайком от мужа. Не выгонять же ее! Нашелся охотник. Мы их оставили вдвоем. А муж, между прочим, на большой! Почему она так?

Я тоже спрашиваю себя: почему?

Года четыре назад я прочла в одном французском журнале интервью, которое кор- респондент взял у пожилой немки из буржуазной среды. Женщина прожила больше чет- верти века в счастливым законном браке, вырастила четырех взрослых детей и вдруг во время летнего отпуска неожиданно для себя изменила мужу с каким-то итальянцем. Это произвело переворот в ее жизни. Вернувшись в родной городок, она уже ни о чем другом не думает, как наверстать упущенное. Вскоре, заручившись согласием мужа, она дает в местной газете объявление о том, что готова вступать в сексуальные и ин- тимные человеческие отношения с любым, кто захочет. Желающие находятся. Доблест- ная фрау принимает всех без разбора в собственном особняке, чуть ли не на глазах у мужа и детей. Интервью – совершенно серьезное, без малейшей тени юмора. Стяжав- шая мировую известность сторонница сексуальной свободы пожаловалась корреспон- денту, что бессовестные молодые люди иногда просят у нее денег за те отношения, ко- торые она осуществляет бескорыстно, и что за сексуальными контактами почему-то не следует душевное сближение.

Эта хоть никого не обманывает. Зато немочка, на которую мы только что напорол- ись в общежитии, разумеется, не спрашивала у мужа разрешения провести ночь с кор- сиканцем. До чего ж она испугалась! Даже странно, что кто-то называет это "свобо- дой". Разве свобода состоит в том, чтобы лгать и ценою лжи покупать себе богатство и комфорт?

... Матье садится рядом со мной на кровать. У него на руке, чуть ниже локтя, вытатуирована роза и надпись, которая свидетельствует, что он очень любит свою ма- му.

– Глупый был. Одиннадцати еще не исполнилось. Но отец за это до того на меня рассердился, что высок. Не понравилось, что я ее люблю больше, чем его. Он – кор- сиканец, а мама – француженка. Не знаю, кто лучше. Я два года работал в Париже. Из всего, что я видел в жизни, самое страшное – парижское метро.

– Ты бы посмотрел на московское в часы "пик"! Куда хуже! Мне кажется, что в Париже настоящей давки никогда не бывает.

– На будущий год поеду в отпуск в Будапешт.

– Я дам тебе адрес. Остановишься у моей мамы.

– Почему ты не женишься?

– Я женюсь только по любви.

– А почему у тебя ружье на тумбочке?

– В Корсике у каждого мужчины есть оружие, чтобы защищаться.

– Нам бы такие права! Было бы оружие, мы бы сами, без Запада, демократию и человеческие права могли защищать!

Когда мы просыпаемся, в квартире пусто. Наш гостеприимный хозяин уже ведет в Бастию утренний поезд.

– Видишь! А ты боялась! – торжествую я над Иликой.

Она оставляет Матье свой адрес и большими печатными буквами пишет внизу

итальянское слово: "Grazie!"

Потом наши пути расходятся: она бежит к уходящему во Францию теплоходу, а я волоку на автобусную остановку палатку, рюкзак и чемодан.

7. Закат над Порто.

Порто славится красотой солнечных закатов. Жаль только, что составители путеводителей по Корсике забывают сообщить, что обещанное зрелище можно прождать целую неделю. Жаркими июльскими вечерами солнце, еще стоя высоко над морем, пропадает в густом тумане и никаких закатов нет.

Я провела на пляже четыре вечера, прежде чем увидела первый закат... Я сидела у моря на камне, а солнце спускалось напротив меня, над линией горизонта. С берега можно было наблюдать за ним, как из огромного амфитеатра. Сверкающее, ослепительное, оно вначале бросало вниз, на волны, широкоую, маслянистую, радужную дорожку. Потом оно превратилось в налитый огненной лавой матовый шар, а от дорожки остался только пучок золотистых нитей, разбросанных на волнах. Казалось, что повисший над морем раскаленный шар сорвется и, не выдержав собственной тяжести, упадет вниз, как падают августовские звезды, но он не сорвался, а начал медленно погружаться в сиреневую облачную вату. На поверхности остался лишь брошенный плашмя тоненький алый серп, похожий на перевернутый молодой месяц. Скоро и он утонул... Мне показалось, что в заливе плещутся теперь два моря. Одно – молодое, гладкое, молочно-розовое – у подножья ближних скал. Другое – под далекой зеленой горой – темно-зеленое, древнее и морщинистое, как кожа слона.

Любители цветных фотографий, отщелкав пленки, ушли в рестораны ужинать. Пляж опустел. Розовые на закате прибрежные скалы померкли и опять стали желтовато-телесными, как были. Потом и эти краски угасли и остались туманные очертания. Произошла перемена декораций, как в театре.

Пришлось повернуться спиной к морю, так как действие перенеслось на задний план, в глубину речной долины, где вереницей поплыли по небу фиолетовые, золотые и жемчужные облака. Долина стала неузнаваемой. Казалось, что я перенеслась с Земли на Венеру или на Сатурн, где всегда фиолетовый свет.

– Чао! – около меня остановились двое. Он – черноволосый бородач в джинсах и ковбойке, психоаналитик из Милана. Альфредо. Она – блондинка с крупными, правильными чертами лица, большими неподвижными, светлыми глазами и падающими на плечи локонами – сотрудница рекламного бюро из Вероны. Патриция. Она – в короткой марлевой тунике, едва прикрывающей бедра. Голые ноги окружены вокруг щиколоток ремнями тяжелых сандалий, как у древних римлян. Она садится на песок у ног Альфредо, кладет щеку на его ладонь, не сводя с него покорных, неподвижных глаз.

– Дождались все-таки! – говорит она. – Я уже думала, что весь этот шум – обычная рекламная выдумка, а оказывается, и в самом деле – очень красиво. Розовые скалы и розовое море! Как в сказке! Теперь можно пойти ужинать со спокойной душой.

– Приготовь, – соглашается Альфредо. – Я еще немного посижу...

Патриция прижимается губами к ладони, на которой всё еще лежит ее щека, и хотя поднимается. Их палатка стоит недалеко от моря в диком кэмпинге "Эвкалипты".

– Почему вы не пошли с женой? – удивляюсь я.

– Патриция – не жена, – поправляет Альфредо. – Моя жена и двое детей остались в Милане. Она еще в прошлом году дала мне отставку.

– Влюбилась в другого? Или нашла побогаче?

– Не все ли равно... Я от этого не пострадал. Религиозный брак давно устарел и не соответствует нашей физической и моральной природе. Он остается такой же сделкой или случайностью, как тысячу лет назад. А мы изменились. Мы гораздо нервнее и неустойчивее предков. Я все-таки – психиатр и в этих делах специалист. С какой только дурью ко мне не обращаются! Я пришел к выводу, что нет ничего страшнее обязательных цепей, которыми супруги прикованы друг к другу на всю жизнь. Чем обя-

зательнее люди, тем меньше делают усилий понять друг друга.

– Какой же по-вашему выход?

– Не вступать в брак. Мы с Патрицией заключили свободный союз.

– Это выход для взрослых, но детям все-таки нужна семья..

Последние краски блекнут. Теперь уже и в глубине долины небо подернулось густой серой паутиной.

– Чао! В следующий раз я приведу доводы, которые вас убедят! – обещает Альфредо. – Встретимся в "Наутилусе".

Пока я поднимаюсь в гору через растянувшийся на полтора километра поселок, на небе все время происходят новые события и перемещения: бесцветные, седые пряди облаков на западе озаряются изнутри золотистым светом. Над ними неожиданно загорается сверкающая, как алмаз, Венера. На востоке всплывает бесцветная Луна. Сгущаются сумерки и, наконец, наступает темнота. Все время приходится оглядываться, чтоб не сбита какая-нибудь машина, мчащаяся на предельной скорости по шоссе.

– Другой век, другие нравы, – все еще размышляю я над задевшими меня за живое словами. Бесспорно, от современного человека, истерзанного вавилонским столпотворением перенаселенных индустриальных городов, нельзя требовать той устойчивости, которой обладали наши дедушки и бабушки, куда больше, чем мы, общавшиеся с природой. Но свободные союзы, которые восхваляет Альфредо, так же несовершенны, как и постоянные. Мужчины и женщины слишком по-разному понимают свободу. Женщина из осторожности часто старается удержать мужа, даже если и живет с другим. Она ищет гарантии благополучия и покоя. Мужчина же всеми силами стремится освободиться от обязательных уз и заменить их такими, которые он в любую минуту может разорвать... А в общем и тем и другим нравится теперь жить без обязанностей, без детей, без забот.

Вот, наконец, и кэмпинг "Оливье". В отличие от огромного кэмпинга "Эвкалипты", расположенного между пляжем и шоссе, где стены палаток в первую же ночь пропитываются пылью, он – платный и считается среди туристов Порто аристократическим. Меня окружают там свободные, временные пары, молодость которых состоит из бесконечных медовых месяцев, следующих один за другим и, благодаря противозачаточным пилюлям, не оставляющих неприятных последствий. Моя палатка стоит в углу на самой нижней террасе, над грохочущей горной рекой. Рядом живут девятнадцатилетние голландские студенты, будущие учителя, – Хене и Елка, скромные, воспитанные молодые люди.

Елка – дочь директора школы. Стройная, тоненькая, с разбросанными по плечам соломенными волосами, милой, застенчивой улыбкой и нежным румянцем на щеках, она кажется мне похожей на Сольвейг. Тихий и вежливый Хене влюблен в нее, слушается ее и всюду следует за ней, как тень.

– Хене – твой жених? – спросила я.

– Нет, Хене – это просто так, – ответила она, покраснев. – И вообще о замужестве я начну думать только после того, как забеременею! – И она радостно рассмеялась, потому что знала, что этого не случится прежде, чем она сама не захочет.

– Так ты не любишь Хене? – ужаснулась я.

– Что такое любовь? – Елка задала этот риторический вопрос таким насмешливым тоном, будто из нас двоих она была старшей.

– Почитай "Маленького Принца" Сент-Экзюпери. Это когда среди миллиона роз для тебя существует только одна.

– "Маленький Принц" – сказка. Это слишком красиво, чтобы быть реальным!

– Но ведь и жизнь – сказка, смысла которой никто не может понять.

– То, что у нас с Хене, – это реальность.

– В мире есть две реальности, и всё вещественное в нем преходяще.

Я вспоминаю, как сто лет назад юная скандинавская девушка – героиня драмы Ибсена, потребовала у любимого:

— Королевство на стол, строитель! (Этим королевством была его душа). Мне становится жаль Хене, потому что Елка не требует у него королевства и не верит в любовь. Наверно, если она ему изменит, он будет страдать.

Хене тоже иногда спорит со мной.

— Те, кто ходят в церкви, часто еще хуже неверующих, — настаивает он. — Среди них много лжецов и ханжей, которые видят в религии только внешние обряды. Для других — это политическая позиция, которая ни к чему их не обязывает морально. У нас в Голландии стоит у власти христианско-демократическая партия. Почти вся молодежь настроена против правительства. Мы не верим в Бога и хотим быть свободными от ханжества, суеверия и лжи.

У каждого собственный жизненный опыт. Вероятно, никакими словами невозможно убедить человека в существовании того, что сам он не пережил и что не заложено в его душе.

Когда я рассказываю голландцам, как, живя в Москве, тайком ездила с маленьким сыном в Загорский монастырь, они меня не понимают. Мы слишком по-разному смотрим на вещи. Для меня религия — это сознание своей связи со всем живым, надежда на тайный смысл жизни. Для них — суеверие и раздражающие их древние обряды...

Темно. Хочется спать. Но если раздеться и закрыть палатку, сквозь тонкие шелковые стенки, заглушая немолчный грохот реки, будут прорываться несущиеся со всех сторон голоса, и я все равно не засну. Лучше не мучиться и пойти вместе с голландцами в бар "Наутилус", в молодежную дискотеку.

В отличие от "ночной коробочки", где развлекаются богатые господа, там не берут входную плату. Надо только заплатить пять франков за бутылку пива или аперитива, и танцуй хоть до самого утра!

... "Коробочки", ночные клубы! До поездки на Корсику я считала, что скромному человеку следует обходить их стороной. И когда впервые зашла в Порто в один из них с невольным страхом, как пловец, отплывший непривычно далеко от берега, поразилась, до чего же там всё прилично! Пьют мало, потому что вечером за вино приходится платить втридорога. Во время танцев царит непринужденное веселье. Когда устают танцевать, хозяин под аккомпанемент гитаристов поет корсиканские песни, и гости сидят чинно, как у друзей на именинах. Ни хулиганства, ни поножовщины! Никакого сравнения с нашими заводскими клубами, где девочкам приходится танцевать с пьяными парнями, которым ничего не стоит ударить их или оскорбить.

В "Наутилусе" непрерывно крутятся пластинки. Вслед за нами вваливается целая толпа девчонок и мальчишек, вернувшихся из горного похода. Они наспех захпихивают в рот бутерброды, а ноги у них уже танцуют. Танцы — их родная стихия. Весь год почти они встают и ложатся с включенным транзистором и даже уроки делают под оглушительную музыку поп или рок. И теперь все, как по сигналу, начинают выламываться, подсакивать, разбалтывать руками и ногами. Жерк каждый танцует, как ему вздумается. Одни трясутся и изгибаются, другие — пляшут вприсядку. Потом включают чачу: все кружится в бешеном ритме, топают ногами и хлопают в ладони в такт музыке. Около одиннадцати появляются Альфредо и Патриция. Она всё в той же короткой, как кофточка, марлевой тунике. Танцует она, слегка присев, раскорячив голые ноги в тяжелых сандалиях, и выделявая что-то похожее на "тпнец живота" из "Дольче вита", но не лежа, а стоя. Альфредо нравится, что этим она притягивает к себе внимание мужчин. Потом заводят очень медленный танец "Слоу", во время которого мужчина прижимает к себе женщину, а ей полагается обеими руками обхватить его за шею. Патрицию приглашает тощий, вилявый, как уж, негр Франсуа. Говорят, что он — футболист из команды "Бастия" и приехал в Порто на заработки. Ко мне подходит незнакомец с осиной талией и тщательной упакованными в узкие, расклеванные на концах, черные брюки худыми ногами. Белоснежная нейлоновая рубашка расстегнута на груди. Лицо — худое, насмешливое и грустное. Он весь какой-то худой. Нос с горбинкой. На шее выступает косточка. Он хорошо танцует и, при всей его внешней гибкости и хрупкости, у него такие сильные руки, что ими можно задушить. После танца он предла-

гает выйти посидеть на террасе и заказывает вино. Я не знаю, нравится ли он мне. К тому же на Западе я не разбираюсь в людях так, как разбиралась у нас. Но все-таки он мне симпатичен уже потому, что выбрал не девочку, а меня. И вообще, грустных людей я люблю больше, чем самодовольных. Мы сидим на террасе, смотрим друг другу в глаза и пьем густой сладкий аперитив "Кап корс".

— У тебя есть муж? — спрашивает он.

— Нет.

— Ты гречанка?

Я молчу и не возражаю. Зачем? Слишком многое придется объяснять. Так много, что он все-равно ничего не поймет. Пусть думает, что хочет. Так даже интересней. Мне уже давно надоело рассказывать о себе.

Он тянется губами к моим губам. Когда мы целуемся, между нами сразу начинается то, что всегда бывает, когда мужчина и женщина нравятся друг другу, и мне начинает казаться, что я вспоминаю с ним всё, что было со мной раньше, как повторяют стихи.

— Поедем ко мне! — решает он.

— Зачем? — настаиваю я.

— Тогда к тебе.

— В моей "канадке" одной негде повернуться.

— Ну, просто выйдем.

Конечно, заранее ясно, чем всё это кончится, если люди даже не спросили друг у друга, как кого зовут.

— Зачем? — противится что-то внутри меня этой простоте. Я освобождаюсь из его рук и смотрю на него злыми и трезвыми глазами. — Зачем? Что, кроме тела, он видит во мне? Стоило ли там — сквозь улюлюканье и травлю — пронести сердце, способное мечтать и любить, чтобы ни за грош отказаться от него здесь?

— Люди теперь сумасшедшие, — виновато вздыхаю я, ласково теребя его жесткие курчавые волосы.

— Да, все сумасшедшие, — грустно соглашается он со мной, пристально вглядываясь в мои глаза. — Если не хочешь сегодня, приходи завтра. — Может быть, он догадался, что женщине бывает стыдно то, что для мужчины просто и легко?

... В зале танцующих уже стало меньше. Мальчики и девочки начали выдыхаться. Елка пьет у стойки кока-колу и болтает с барменом, а верный Хене стоит около нее, как страж. Черный Франсуа приглашает меня на рокенролл.

Издали я вижу, как мой новый знакомый подходит к бару и пьет на дорожку "посошок". Потом Франсуа угощает меня "мартини" и рассказывает о какой-то африканской стране, название которой я тут же забываю.

Я думаю о завтрашнем вечере и спрашиваю себя: прийти или не прийти? Мне здесь весело. Все очень мило со мной. Вдруг приближается Елка, наклоняется над моим ухом и шепчет, что еще кто-то предлагает мне выпить с ним стакан вина. Здесь — это знак симпатии. Отказаться — значит оскорбить.

Покидаю Франсуа и иду посмотреть на своего поклонника. Это смуглый плотный корсиканец лет сорока, спустившийся на вечер с гор, где он пас свое стадо коз. Оказывается, он не умеет танцевать новые танцы, которые танцует молодежь. Ему взбрело в голову непременно танцевать со мной танго. Молодежь давно уже разучилась танцевать танго и фокстроты, считает их слишком трудными. И вот, при виде меня, он решил, что нашел подходящего партнера. Я не отказываюсь. Хозяин долго роется в ящике, ищет пластинку. Мы ждем. Наконец, он возвращается к нам и виновато разводит руками: ни одного танго. Вместо него заводят "чачу".

Парижские мальчики танцуют ее с шиком, посадив девочек на плечи. Все топают, как слоны, и кричат. Мне тоже становится весело, как давно не бывало. Я топаю и кружусь вместе с ними.

В третьем часу ночи Елка и Хене решают, что, пожалуй, пора на отдых. У Хене в руках электрический фонарик. Слабая струйка света падает на дорогу и тут же тонет

в крошечной тьме. Вет свежестью и холодом с реки. Ветер сдувает с меня остатки хмеля. В душе шевелится какое-то неясное недовольство собой. Почему? Потому что было слишком весело? Похмелье ли это или тот категорический императив, о котором когда-то писал Кант?.. Прийти в "Наутилус" завтра, послезавтра? Стать навсегда местной достопримечательностью? – Какая пошлость! – возмущается во мне внутренний голос, и сердце сжимается от тоски.

– Завтра же утром перекочу из Порто в какое-нибудь тихое место, – решаю я, еще не дойдя до своей палатки.

8. Мальчики бунтуют.

Всё утро я простояла у обочины дороги с поднятой рукой. Наконец, меня подобрала итальянцы – парень и девочка. На мое счастье, у них был пустой багажник, и они тут же погрузили туда мою палатку, чемодан и рюкзак.

В Галерии нет ни ночных клубов, ни больших ресторанов. Гораздо тише, чем в Порто, и я решила там остаться.

Кэмпинг находился недалеко от пляжа. Я выбрала место для палатки, укрепила кольшки и пошла загорать. Но вечером, когда я вернулась, оказалось, что два мальчика из Руана поставили свою "канадку" почти вплотную к моей. Вначале я рассердилась, что они не оставили между ними расстояния. Это ведь все равно, что спать в одной комнате: через матерчатую стенку слышно каждое движение и каждый вздох. Но у моих новых соседей были усталые лица и тяжелые рюкзаки, и я смирилась и не стала заставлять их перебивать кольшки.

Когда речь идет об одной или двух ночах, не стоит поднимать шум из-за мелочей. У меня были чай и ириски. У мальчиков – чайник и газовая плитка. Мы организовали общее чаепитие.

Мои соседи оказались неудачниками: срезались на выпускных экзаменах, Паскаль – в прошлом году, а Жак – несколько недель назад. Они были очень непохожи друг на друга. Трудно было понять, что их связывает, кроме общей неудачи. Большой голубоглазый Паскаль производил впечатление уравновешенного миролюбивого молодого человека, а маленький темноволосый Жак был весь пропитан желчью.

– Будете пересдавать экзамены? – интересуюсь я.

– Зачем? – удивляется Паскаль.

– Попытка – не пытка.

– Но я уже получаю пособие как безработный.

– А я решил поступить на курсы для фельдшеров психиатрических больниц, – поблескивает узкими черными глазами Жак. – Люди должны быть гуманными. И вообще, еще не выяснено окончательно, кто сумасшедший? Бывает, что и на нормального человека навешивают ярлык.

– Но все-таки для вас было бы лучше, если б вы пересдали экзамены и поступили в университет.

– Зачем терять время? В университетах та же рутина, что и в лицеях. И после них так же трудно устроиться на работу.

Современная французская молодежь нетерпелива. Прошли времена Бальзака, когда молодые провинциалы сидели в своих мансардах в Париже на черном кофе и хлебе, лишь бы окончить университет. Потраченное на учебу время многим кажется жертвой, за которую их немедленно обязаны вознаградить. Я уже видела огромную толпу первокурсников, заполняющую аудитории Сорбонны, от которой после экзаменов не остается и половины.

– Буржуазная культура и буржуазное общество все равно обречены на гибель, – объясняет мне Жак.

– Но какую еще культуру ты знаешь?

Он молчит. Как большинство французов, он любит повторять модные фразы. А на буржуазную культуру ропщут теперь все интеллектуалы с бульвара Сен-Жермен, сами вышедшие из ее недр.

— У нас пытались создать "пролетарскую культуру". Но ничего из этого не вышло, — возражаю я. — Наверно, суть в том, что культура носит национальный, а не классовый характер. У нас существовала русская культура. Вместо нее насадили "советчину", подделку.

— А у нас революция все равно всё перевернет!

— Зачем тебе революция?

— Чтобы построить социализм.

— Ты воображаешь, что изменить человечество легче, чем сдать экзамены на бакалавреат. Можно улучшить экономическую систему, добиться децентрализации. Но Но никакое общество не может подняться на более высокую ступень, пока не изменятся сами люди. Каждый в отдельности.

Но у нас — развитая страна. У нас не может быть такого idiotского "социализма" с ГУЛАГАМИ и колхозами, как у вас! — кричат в ответ мальчики. — Какой социализм может построить отсталый народ? Вы — русские, умеете только портить чужие идеи!

— Почитайте Герцена и Бакунина! — требую я. — Они считали, что благодаря сельской общине, русский мужик более подготовлен к социализму, чем самые цивилизованные англичане или французы. А Достоевский в 1864 году, после первой поездки в Париж, написал: "Если и возможен социализм, да где-нибудь не во Франции".

— Почему?

— Он написал: "Чтобы сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству, верующей в братство, которую само собой гнет на братство... Конечно, можно переродиться? Но перерождение это совершается тысячелетиями..."

Правда, впоследствии, незадолго до своей смерти, он несколько изменил мнение. Он первый, кто мысленно соединил Христа и социализм, и не в России, а именно во Франции еще в те дни, когда никакого христианского социализма в Европе не существовало. Отметил его зарождение как важный исторический симптом: "...есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей: это и в Бога верующие и христиане, а в то же время и социалисты, — говорит в последнем его романе начальник парижского сыска. — Вот этих-то мы больше всех опасаемся, это страшный народ! Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника".

— Глупости! — сердится Жак. — При чем тут Бог?

— Вне связи с идеей Христа, которую Достоевский считал "великой нравственной идеей", социализм оставался в его представлении лишь разрушительной силой, не способной создать новые формы жизни.

— Родители Паскаля не верят в Бога и не окрестили его. А мои старики меня очастливили. — Жак лукаво улыбается, как будто собирается рассказать непревзойденный по остроумию анекдот. — Воспользовались тем, что ребенок — беспомощное существо и не может протестовать. Угадайте, что я сделал? Весной я написал епископу письмо, в котором выразил протест против насильственного обряда, который совершили надо мной без моего ведома и согласия. Я потребовал, чтобы он освободил меня от него. Я не признаю себя крещеным. Меня никто не спрашивал!

— Слушай, Жак, но ведь так черт знает до чего можно дойти! О чем можно спрашивать новорожденных?

— Так пусть не крестят!. Епископ ответил, что считает мое письмо кощунственным и что от крещения никто, кроме самого Бога, не может меня освободить.

— Бог-то чем тебе мешает?

— Чем? Да тем, что ни из чего не следует, что Он существует. Действительность ужасна! Везде страдания, унижения, подлость. Кто во Франции живет лучше всех? Волки! Неужели вы верите, что Бог нарочно придумал безумие, старость, смерть, болезни, автомобильные катастрофы?

... Мои соседи привыкли к тому, что взрослые редко ими интересуются и избегают вступать с ними в споры, боясь показаться несовременными. Утром они уже настолько осваиваются со мной, что посвящают меня в свои сердечные тайны.

– У Паскаля в Руане осталась *petite amie*, – шепотом сообщает Жак. – У меня тоже была девочка. Но она изменила мне с моим товарищем. Конечно, это не трагедия. Но все-таки неприятно, когда предпочитают другого. Если переживать, можно стать женоненавистником. Я тут же нашел другую. Хорошо, что девочек теперь освободили от целомудрия!

– Целомудрие – достоинство. Лучше освобождаться от недостатков.

– Но согласитесь, что без него жизнь приятнее.

– Знаешь, каким было кредо Канта? "Звездное небо надо мной и нравственный закон во мне"!

– Ваш Кант давно устарел! Надо освободиться от нравственного закона!

– Гедонизм на двадцать два столетия старше Канта! Не думай, что ты изобрел что-нибудь новое!

– Если не наслажденья, незачем жить!

Мы все время спорим. Наши взгляды не сходятся.

В первые годы после приезда во Францию я не могла понять, чем именно недовольны французы. Ведь с советской точки зрения, Франция, особенно для молодежи, – земной рай. Если ты талантлив, никто не затопчет тебя за это в грязь. Если ты стремишься понять окружающую жизнь, тебя не включают в черные списки и не закроют перед тобой все дороги... Все блага и права, о которых советские люди пока даже не смеют мечтать, а все-таки французы недовольны своим положением и требуют всё новых прав и благ.

Французы могут беспрепятственно читать все книги, какие только существуют, но именно поэтому им лень читать. Кончая лицей, многие из них не знают, кто такие Гамлет и Фауст. Я не понимала, почему юные материалисты, выросшие в этой счастливой стране, часто произносят слово "реальность" с таким отвращением, как будто называют имя своего злейшего врага; почему многие, едва перешагнув через ее порог, ищут от нее спасения в наркотиках и алкоголе?

Откуда эта альтернатива: ненавистная реальность или бред?

Почему самая интеллектуальная нация в мире охладела к разуму и предпочитает ему безумие? Чего нехватает французам, добившимся таких социальных завоеваний и прав, какие даже не сняты гражданам "социалистических стран"? Чем они не удовлетворены?

Веками французы преувеличивали значение политических перемен и приносили им величайшие жертвы. Они извлекли из политики максимум того, что она может дать: гарантию политических свобод, множество социальных мероприятий, проливших елей на классовую рознь. Теперь молодежь уже начинает остывать к политике. Мне кажется, что мои соседи ведут разговоры о революции лишь по традиции и по привычке. На деле их не волнует несбывшаяся фата-моргана "всеобщего счастья". Они – индивидуалисты и больше озабочены собственной судьбой, чем судьбой "рабочего класса". Тем более, что вместо французов тяжелую черную работу на заводах и стройках обычно выполняют иммигранты. Сами же французы предпочитают должности чиновников на почте, на железной дороге, в бюро. "Революционеры" они своеобразные. Их не особенно соблазняет перспектива, вооружившись вместо дипломов партийными билетами, занять высшие должности в стране. Но они любят при случае пошуметь, погорланить, разбить стекла, подразнить полицейских. Готовы поддержать любую партию, которая враждебна выросшему их обществу. И хотя ненавидят труд, сочувствуют социализму (однако, такому, при котором сохраняются и собственность, и плюрализм).

Они любят игру в революцию. Любая манифестация для них – праздник. Многие из них ищут в этой игре спасения от пошлости жизни, новых мыслей, ощущений, путей.

Психологи считают, что мальчикам положено спорить и бунтовать по закону природы. Русские мальчики и девочки начали бунтовать за сорок лет до первой русской революции. Их бунт начался с "нигилизма", похожего на скептический материализм, которым сегодня заражена западная молодежь.

Но русские студенты верили в могущество политических перемен. Французские же, отдав дань этой вере в мае 1968 года, когда они помогли рабочим завоевать для син-

дикатов новые права, охладели к политике...

Человеческое благополучие всегда зыбко. Когда в прошлом веке Лев Толстой начал пророчествовать о том, что человечеству придется расплачиваться за комфорт и облегчение труда, никто не подозревал, какие устрашающие размеры примет эта расплата.

Прожив во Франции несколько лет, я почувствовала, что и здесь жизнь несовершенна. Только иначе, чем у нас. Едва покончили с одними трагическими вопросами, тотчас возникли другие, которые еще труднее разрешить. Одновременно с добытыми в борьбе правами и свободами появились новые формы физического и духовного закрепощения. И буржуа, и рабочий, и крестьянин — все, у кого есть деньги, в этом свободном демократическом обществе функционируют не только как производители, но еще более как потребители материальных благ. Фатальные силы исторического развития, как и у нас, отказывают им в индивидуальности, в собственном лице, превращают их в роботов, в игрушку трестов и компаний, ради собственной наживы разжигающих в них жажду все новых и новых благ. Они работают, покупают, развлекаются и отдыхают.

Они ничего не читают, кроме бестселлеров, полицейских романов и газет. За них думают интеллектуалы, преподносящие им мысли в разжеванном виде, как готовый для употребления полуфабрикат. Еще никогда судьба интеллигенции так не зависела от законов рынка, от спроса и потребления. Свободные от партийного и государственного гнета интеллектуалы, вместо того, чтобы искать непрохоженных путей, единственных, на которых, по словам Андре Жида, водится дичь, торгуют только тем товаром, на который существует спрос. Они такие же рабы рынка, как все вокруг них.

Да, теперь я уже начинаю понимать стихийный протест молодежи против этого общества, казавшегося мне вначале таким благополучным. Но здесь, по крайней мере, не душат бунтарей, как у нас. Им дают вырасти. Со временем они становятся сами законодателями моды, властителями интеллектуального рынка.

Большинство молодежи делит теперь свои симпатии между левыми и эколожистами. Но в последнее время оживили свою деятельность и крайние правые: "Национальный фронт" и "Партия новых сил". От них вскоре отмежевались лицеисты и студенты, образовавшие группу "Национальное единство".

В близких к правительству кругах из молодых интеллектуалов — сторонников существующего порядка, образовался "Клуб часов", насчитывающий сто двадцать членов. Французское общество стоит на пороге новых политических столкновений и перемен. Но есть здесь и молодые люди, которые ищут спасения от общества и его стандартов в бегстве. Я уже встречала, путешествуя по Франции, молодых парижан, сознательно предпочитавших жить вдали от городов, без комфорта и удобств. Может быть, они ближе к духовной свободе, чем те, кто пытается обрести ее в уличных боях?

Всё в нашем несовершенном мире связано одно с другим: неизвестно, что лучше — излишек благ или бедность? За лишние блага приходится расплачиваться истощением природы, за новые машины — ослаблением физических и умственных сил. Свобода выражения приводит к обезцениванию мысли и слов, Гонка богатств не менее опасна для человечества, чем гонка вооружений, а "вснмогушая наука" и компьютеры не могут решить вставшую перед человечеством трагическую альтернативу: быть или не быть? Большая кошка убегает в лес и рыщет среди деревьев, разыскивая целебную траву. Жак и Паскаль — сыновья индустриального века, надевают на спины рюкзаки и уходят из города в горы, чтобы чувствовать себя живыми людьми.

(Продолжение следует)

Н Е С М О Д О Й

*"Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!"*

А. К. Толстой

Хочу быть смело-старомодным,
не слушать "левых" толмачей.
Хочу быть дерзко-непригодным
для дутых дел, пустых речей.
Хочу я, честь не опозорю,
жить – у лакеев не в чести,
чтоб с криком века вечно споря,
в душе *Надвечное* спасти.
Сверлят твоё сознание свёрла
салонных догм, новейших схем,
где, угодить пытаюсь всем,
встаешь ты сам себе на горло.
Но рано ль, поздно ли, – придёт
за угождение расплата,
и канет в Лету без возврата
унылого Бесплодия плод.
Чужайся же сует, художник!
Ищи свой собственный гранит.
И Славы трепетной треножник
тебя за то благословит.

* * *

Но бойся разменяться vsуе
на деньги, на богемный всплеск!
Себя для Вечного взыскуя,
отринь сиюминутный блеск!
Гордись, поэт, служенья стажем
тому, что – высь и облака,
и будь таким, каким был, скажем,
поэт Толстой – (Толстой А.К.)!
Ведь это счастье – кинуть вызов
надменным снобам, тьме мещан,
и отвергая призму призов,
рассеять суеты обман.
Не подчиниться общей "мове",
не погасить свою свечу,
и быть художником по крови,
кому Бессмертье – по плечу.

* * *

И я хочу, и я дерзаю,
"авангардистам" вперекор,
традиций перелетных стаю
приветить в соколиный спор.
Хочу над журналистской сварой,
над суетой кружков и клик,
сверкнуть победною Тиарой,
прозрев Искусства вечный лик.
Хочу быть дерзко-старомодным
во всех пристрастиях своих.
Смелиться над стихом "свободным"
и говорить, что он — *не стих*.
Хочу,

разумно и причинно,
ночь отличить от света дня.
Сказать картине:

се — картина!

Сказать поделке:

пачкотня!

Хочу довольствоваться малым,
не передергивая карт.
И не бояться слечь "отсталым"
среди заблудших в "авангард".
Я знаю: в том и назначенье
поэта, чтобы быть собой,
и смело плыть "против течения",
как делал это граф Толстой!

* * *

Хочу, познав шторма и бури,
привыкнув к Музе мятежа,
служить одной Литературе,
литбоссам вовсе не служа.
Разворошив уютный улей
из эмигрантских домовых,
я не боюсь глумливых "гулей"
и бесноватейших "седых".
И точно так же лженоватор,
нахальный "третьеволовник",
меня не втянет в свой фарватер —
я от "фарватеров" отвык!
В Искусстве будучи солдатом,
его я честный часовой.
Не стану книг писать я матом —
пусть матюгаются другой!
Пусть матерятся даже скопом... —
Пройдет, пожалуй, пара лет,
и под каким ты микроскопом
матюжников отыщешь след?..
Всё приедается, всё канет,
всё мнимо-вечное пройдёт,
и только сердце не обманет,
когда оно мечтой живёт.

Я знаю: есть судьбы огромность,
есть Верность, равная мечу...
И если в *этом* "старомодность" –
я старомодным быть хочу!

* * *

Посвящается Кастюсю Акуле

Дружба проверяется не счастьем –
так уж испокон заведено.
Дружба проверяется участием,
в Д е л е благородным соучастием,
и, старея, крепнет, как вино.

Молодая дружба – что ребёнок,
весела, наивна и смела,
голосок ее красив и звонок,
но,
едва оставшись без пелёнок,
бросче на слова – не на дела.

Только дружба, знающая раны,
знающая горя рубежи,
говорит: "крепитесь, ветераны!
В дальние заброшенные страны,
Вы теперь не мальчики – мужи!"

Водопады пройдены и броды,
трубы прогремели и труды.
И за то причастием свободы
золотеют нашей дружбы всходы –
мудрой побратимости плоды.

ИЛЬМЕНЬ

Растревожен зеленым именем,
ринусь соколом в глубину,
к новгородским былям прильну,
чтоб пролиться в них дымчатым Ильменем.

Это страшно и нелегко,
когда в темени водной видится
то ль русалка,
то ль просто рыбица,
соблазняющая Садко.

Вечевое,
кудрявое зарево
и гудит,
и блестит в дыму.
Не прильну,
так умом пойму,

где был град,
а где только гарь его.

И поняв,
отшатнусь от данного,
от реалий —
во имя сна,
новгородского и туманного,
словно Ильмень
и тишина.

Над одной из несбывшихся былей
вьётся марево наших утрат...
Словно струги варягов уплыли
в золотисто-синий закат.

Что ж,
мечтать?..
И от вечности вымени
дерзновенную влагу испить?..
Но какую мечтой утолить
глубину бесконечного Ильмени?

Всё,
что было в Руси исконного,
утонуло, как терема...
И остались:
обломки Тронного,
горечь имени забубённого,
цепь мечты,
а в жизни — тюрьма.

КРЕСТОНОСЕЦ

*Интрошифр: К р е с т — то, что я вижу;
П л и т а — подсознание.*

На грани призрачной плиты
повисли неба своды,
кресты лучей, лучей кресты,
крестовые походы.

Темнее самых темных туч
Ночное надвигалось.
Звезда кричала, рвался луч
и исчезала жалость.

Какие кони подо мной
и где я видел залы,
где чокались моей судьбой
граненные бокалы?

ГАРАВАТКА

(Главы из третьей книги)

На сером, длинном, местами закоптелом и поврежденном, здании вокзала, посредине серой доски, едва виделась надпись: МИНСК. Янук протиснулся сквозь толпу виленских спекулянтов, соскочил на гравий возле шпал и протер заспанные глаза. Вокруг — солдатская толчея, которая, видимо, никогда не замирала. В ушах гудело. В тяжелой от бессоницы голове перекликались ночные отголоски: медленный рокот поезда и словесная трескотня спекулянтов, которые, сидя на своем доходном скарбе, угощались шнапсом, копченой говядиной, ситным хлебом и колбасой.

Пересадка была в Молодечно около полуночи. В товарном вагоне, куда он попал после проверки документов, было темно и тесно. Не успел Янук и шага ступить, как посыпалась отборная ругань.

— Сволочь... Сукин сын... Куда лезешь?

Юношу поразил сипатый, прокуренный женский голос. В нем и женского-то было мало. Кто-то в углу зажег фонарь. Выпятив живот, окруженная котомками и корзинками, тетка с прокуренным голосом, похожая на свиноматку, разместилась у дверей. А из полутьмы доносились хриплые и острые басы, тенора и альты — все на одном жаргоне.

— Куда меня занесло? — подумал Янук.

Примостился он у дверей, ибо далее не пустили. Самые зычные голоса слышались по углам.

Внезапно грохнули двери — едва ноги успел подтянуть. И под перестук колес, под слышную откуда-то со станции немецкую ругань, загудела своя, вроде бы, конспиративная болтовня. О Збысках, Марысках, курвах, дялягах... и прочих гомо сапиенс. В носу саднило от запахов чеснока, пота и табачища. Януку казалось, что вся эта публика соединилась здесь не случайно и только он один — что ненужная мозоль на руке. Когда поезд разогнался, из щелей потянуло холодным сквозняком, и кто-то в углу, зажегив фонарь, принялся угощать: "вздогнем, панове!" В ответ — довольное чмокание, одобрение самогонного мастерства. И внезапно на весь вагон оплеуха — бац! — и женский голос: "Куда лезешь, холера!" И общее роготание. Веселая компания, одним словом. Аппетит нагоняют, черти!..

В кармане, в маленьком свертке, лежал у него кусочек черствого деревенского хлеба да шмоток сала. А в корзине он вез сыр, масло и хлеб для Рашкевичевой свояченицы, у которой должен был остановиться. Надо было б поспать, но как тут ляжешь? Интересно, когда все эти люди спят — может, днем? Да и кто они такие? Впрочем, догадаться не так уж трудно: спекулянты! Во время войны они очень полезную функцию выполняют. Кабы не они, не было б черного рынку. А меж них, наверное, и проходят те связи польской разведки, о которых Антось Деркач говорил. Ниточки начинаются здесь, а потом уж вверх, до Лондона тянутся. И в этих двух-трех, битком набитых вагонах наверняка не один человек ездит по разведывательным заданиям. В Минске у них есть своя явка, где какой-нибудь Здысек, или другой "дяляга" сидит, а, может, и местный дядька Савось... Есть, конечно, и пароль, и отзыв, и всё прочее...

Поезд остановился. С грохотом, широко распахнулись двери; ворвалось знакомое немецкое гарканье: "Райзшайн, шнэль, шнэль!" — И не было "биттэ".

Янук — самый первый. Думал: "уж коли все эти куркули с корзинами имеют документы, так у него — Янука Бахмача, документ от самого Витвицкого. А он как ни как, сама власть!"

Странно, но все в вагоне оказались с пропусками. Немец, свегя фонариком в про-

ходе, пробирался между котомок, корзин, кошелей всяких. И чем дальше, тем более стихал его голос. А там и послышалось журчание наливаемой жидкости и в ответ немецкое "данкэ шэн".

Мужчины и женщины, одетые по-городскому, (Янук теперь к ним пригляделся) просто "ели глазами начальство". И минут через пятнадцать немец, хлебнув добрую чарку и закусив, вылез из вагона. Хляснули двери и поезд вновь тронулся под медленный перестук колес.

М И Н С К!

Почему бы не Минск?

Уже на платформе Янук отступил в сторону, присматриваясь к ночным соседям. Все они, навьюченные багажом и по виду трезвые, послушно становились в очередь перед военными жандармами, что стояли у входа на вокзал. Везде виднелись надписи: "только для немцев" и сновали солдаты. А тут был проход для штатских и казалось, что эти – с багажом – не мучились от бессонницы и ночной попойки, что не были они теми жертвенными патриотами, которых некогда в родной деревне Янука так воспевала учительница пани Романовская.

Янук встал в очередь, осмотрелся. Вокзал был хорошо освещен. Вдали остановился пассажирский поезд, пришедший с запада. Из вагонных дверей показались солдаты. Но это не были немцы, хотя одеты в эсэсовскую форму. На рукавах – нашивки с надписями... Французы!

Вот те раз!.. С чего бы тут быть французам? Или они тоже – Гитлеру на помощь? Но рассуждать было некогда. Какой-то черт сзади поднапер и Янук оказался впереди, протягивая свой "райзэшайн".

С другого бока вокзала, на широкой площади, – толчея. Грузовики с открытыми бортами глотали немецких солдат. Штатские, словно испуганные зайцы, жались в сторону, стремясь пробраться на станцию.

– Господин, хотите почищу сапоги?

Совсем детский голосок. Хлопец лет десяти, не больше, предлагал немцу свои услуги. Таких чистильщиков было здесь несколько. Держались они на углу улицы, где проходили солдаты.

Один из них – маленький, с худеньким веснушчатым личиком, был одет в слишком большую, наверно, одолженную у брата, серую свитку; поперек головы его торчала пилотка. Он только что окончил чистить сапоги солдату, лишний раз провел черным бархатным лоскутом, проверяя глянец. Сапоги сияли – не только носки, но и короткие, шершавые голенища.

– Фэртиг, майн гэр! – сказал хлопчик.

Немец довольно усмехнулся.

– Сколько? – спросил он.

– Айн гальб марк, – бойко ответил хлопчик.

Немец вытянул из кармана пачку оккупационных марок, старательно отделил одну бумажку и дал ее замызганному хлопцу.

– Данкэ шэн, – сказал тот.

Он быстро спрятал марку в карман потрепанных штанов и благодарно улыбнулся солдату. А тот, вытянув руку и вертя указательным пальцем у самых глаз хлопчика, потребовал жестким, словно гравий, голосом: "Айн гальб марк!"

– Мне нечем разменять, – оправдывался хлопец.

Лицо солдата стало тучеобразным, карие глаза гвоздями вонзились в хлопчика. Присев, солдат схватил мальчугана за правое плечо и, ругаясь, стал награждать его оплеухами. Ящик, щетки, тряпки хлопчика полетели в сторону. Обороняясь левой рукой от ударов по лицу, мальчуган стал молотить немца в живот босыми ногами. Возможно, он угодил ему в весьма деликатное место, потому что немец скривился от боли, а хлопец вырвался от него.

– Фарфлюктэ фашист швайн! – крикнул он немцу.

Прибжавшая на помощь толпа мальчишек-чистильщиков вторила ему: "Швайн, швайн, фашист!"

Разъяренный солдат схватился было за штык, висевший у него на поясе, но потом раздумал, крепко выругался, сплюнул, и зашагал в направлении серых зданий и кирпичных куч городских кварталов.

Пораженный Янук смотрел на эту сцену. Что было бы, не вырвись этот хлопчик? Он зашагал вперед, сам в точности не зная, куда. Вскоре он остановился перед громадным, серым, уцелевшим от бомбежек, зданием этажей в семь. Перед ним – широкая площадь. Что-то знакомое. Вспомнилось, что еще учась в советской семилетке, видел снимок. Дом правительства. Минск. Вот он.

Однако чего-то не хватало в этой картине, чего-то монументального. Янук с детских лет обладал хорошей зрительной памятью, и она услужливо вырисовывала теперь гипсовую фигуру не то Сталина, не то Ленина.

– Точно, был памятник, – сказал Янук самому себе. – А теперь нет... Взорвали, должно быть...

И тут же перед глазами снова мелькнул испуганный хлопчик с веснушчатым лицом, у которого не было сдачи для немца, и сам этот немец тоже. Он отогнал воспоминание и стал думать, куда же идти. Где эта Комаровка с редакцией газеты? Кого бы спросить? Пожалуй, именно такие вот хлопцы-чистильщики должны знать город лучше всего. Но разве найдешь сейчас того мальчонку и его друзей? Все поразбежались. Хотя по улицам есть и другие, конечно...

Янук не ошибся. Наглядевшись на "дом правительства" и свернув на первую встречную улицу, он сразу наткнулся на двух чистильщиков. Было в этих хлопчиках нечто, чего Бахмач – сын полей ржанных и со льном в голубых звоночках, никогда не замечал у подростков: Дело не в одежде военного времени: огромных фуражках на остриженных головах, рубашонках, давно тосковавших по стирке, непоразмерных свитках, потертых штанах и шербатах ботинках на босу ногу. Нет, не в одежде дело. Военное лихо наложило печать на словно бы постарелые детские лица, особенно на выражение глаз. Им бы еще смеяться на всякие детские игры, а они здесь насмотрелись на столько горя, что теперь недоверчиво настораживались под нахмуренными бровями, оценивая лишь возможность подработать.

Орудия производства – деревянный ящик, щетка, паста и тряпки, располагались тут же – на потресканном тротуаре. Территория обслуживания – сколько видишь в обхват. Клиентов (исключительно военных) было достаточно. Едва в поле зрения попадал человек в сапогах – то ли немецкий солдат, то ли офицер, хлопцы тут как тут: весь бедный лексикон чужого языка шел в ход. Если б кинуть сюда паренька из Бахмачевой деревни, дав ему те же "орудия труда", смог бы он выжить, не зная этого, разрушенного войной, города? Смог бы он помочь своим близким, как делают вот эти хлопцы?

Янук остановился. Вдали какой-то грузовик, набитый солдатами, пересекал улицу. Поблизости, над уцелевшей частью здания, висела надпись? "Гарбата". Было еще что-то написано меньшими буквами, чего Янук разобрать не мог.

"Что шуба, то не вата, что капуста, то не горбата"... – вспомнилось вдруг Янку двустиише. Почему "гарбата"? Неужто белорусское это слово? Вроде бы, по-белорусски – "чай"?..

– Ботинки почистить?

Детский голос вернул его от "гарбаты" к действительности. Чистильщик не знал, как следует обращаться к Янку, и нерешительно добавил: "Дяденька?.."

– Какой я тебе дяденька? – усмехнулся Янук.

Хлопчик взглянул на него, внимательно оценивая. – Нет, не угадаешь, – подумал юноша. Но не было времени с ним объясняться. Где-то на Комаровке находилась женщина, адрес которой лежал в кармане, а здесь, около площади Свободы, гнездились новый белорусский Парнас, до которого Янук доберется, пожалуй, еще сегодня.

– Скажите, хлопцы, где у вас тут Комаровка?

– Комаровка? – переспросил старший из мальчуганов. – Это вон там. – И он указал в направлении на восток. – Надо идти по этой улице до радиозавода, там она и есть.

– Далеко?

– Да нет, километра два, не больше...

Подошли какие-то солдаты и для хлопцев снова нашлась работа. Янук медленно пошел, разглядывая обступавшие улицы руины. Только с левой стороны возвышалось совсем целое здание из красного кирпича – какая-то церковь. По-видимому, костел, а уж какого там стиля – Бог ведает.

Пройдя несколько кварталов, юноша присел на кучу разбитого кирпича, вынул из торбы кусок сала и черствого хлеба и, медленно жуя, стал разглядывать городскую панораму. Вдали, наискосок слева, словно большой круглый мавзолей, серел под утренним солнцем театр оперы и балета. Пожалуй, в израненном городе здание это (с моста на Свислочи можно было разглядеть его масштабность) было невольным контрастом. Некогда было оно, пользуясь терминологией строителей, органично вписанным в ансамбль соседних строений. Интересно, как удалось ему уцелеть? Вокруг, вероятно, бушевало море огня, а театр – поди ж ты! – остался стоять, будто молчаливый протест против издевательств земных и небесных, остался стоять всему наперекор. Этот памятник на кладбище...

Янук взгляделся еще дальше, на Верхний город. Он разглядывал прежде старую карту Минска, и, в общем, ориентировался. Вдали возвышались башни храма в стиле барокко. Свислочь плыла в своих, словно потрескавшихся берегах, земля опускалась к реке ленивым уклоном. Вода обмывала разный хлам, а возле березы босые ребятишки возились над скорлупой старой плоскодонки.

За театром виднелось большое, тоже уцелевшее здание зеленого цвета. В окнах поблескивало солнце. По-видимому, в этом здании жили люди. А с правой стороны улицы, там, где находилась, как сказал чистильщик сапог, Комаровка, золотом вспыхивали купола храма, да чернели верхи домов. А что если та часть Комаровки, куда шел Янук, не уцелела?

Юноша долго разглядывал улицу, будто стараясь навеки запечатлеть картину изуродованного города. Как это писалось в "Слове о Полку Игоревом"?

На Немиге стелют снопы головами,
Молотят цепями булатными,
Жизнь на току кладут,
Веют душу от тела.
Кровавые бреги Немиги не добром были посеяны...

Янукова память возрождала строки, которые с таким упоением декламировал его наставник, историк Соболевский. Интересно, что сказал бы старый летописец, увидя картины сегодняшней военной беды?

Янук знал, что Комаровка – старая часть города. Но внезапно он оказался словно в деревне, которую, видимо, поглотил город совсем недавно. Сдается, что некоторые хаты здесь своими окнами видали еще угоняемых в Сибирь москалями белорусских повстанцев...

Вынув из кармана блокнот, Янук взглянул на записанный адрес. Вскоре стоял он перед низкой, в два окна на улицу, серой, обитой досками и давно некрашенной хатой. Осторожно постучал в дверь. Никто не отзывался. Между тем из-за хаты доносились голоса и девичий смех. Янук пошел на голоса и оказался в небольшом садике. Около забора – густой малинник. Под яблоней, возле самодельного стола, стоял лысый, средних лет мужчина и говорил по-русски. Сбоку, в плетеном кресле сидела чернявая, очень красивая девушка – по возрасту ровесница Янука (потом узнал, что звали ее Галиной). Она держала в руках книжку. Пожилая толстая женщина сидела в плетеном кресле с другого боку. Она вышивала на полотне, натянутом на деревянных обручах. Все эти деды Янук схватил мгновенно, пораженный ощущением тишины и покоя, словно войны и не было.

Первым заметил Янука мужчина. Он умолк, взгляделся в юношу и на лице его промелькнула усмешка. Смотрела на Янука и пожилая женщина – нежными голубыми гла-

зами. Чернявая девчина — огоньки в очах! — будто и не ведала: то ли от смеха прыснуть, то ли напустить на себя внешнее смирение. Не раз потом вспоминал эту сцену Янук, думая, что, действительно, довольно смешным мог он показаться людям с первого взгляда: низкорослый блондин в кепке и самотканной свитке, с корзинкой через руку. Ни дать, ни взять — этакий дядька, что на рынок собрался, хоть "дядьке" этому и семнадцати годов еще не стукнуло. А самое главное, что в окрестностях Минска давно уже не носили такой самодельной одежды на бывший колхозный манер. Так что вопрос: откуда ж тот "дядька" на рынок явился?

— Извините, я — Янук Бахмач из Гацев. Мне Нина Рашкевич этот адрес дала, сказала, что у нее родственники тут.

— А, так вы тот западник, о котором Нина писала? Пожалуйста, заходите и присаживайтесь, — грудным ласковым голосом проговорила женщина.

Янук нерешительно потоптался на месте.

— Значит вы белорус? — допытывалась женщина. — И я тоже белоруска, и Галька моя, а это у нас портной живет. А сама я выросла на севере, около Лагойска... Как же вы добிரались до нас? Хорошо?..

И слушая ее голос, Янук понял, что он нашел себе временное гнездо-пристанище в этом разоренном войной городе.

* * *

Наступил незабываемый для Янука день. Оттоптавшие изрядный кусок света отцовские ботинки теперь опробывали себя на минских искаженных мостовых, когда их новый владелец отыскивал летним днем дорогу в редакцию газеты. С тревожно бьющимся сердцем пытался он вообразить свою встречу с главным редактором и всё сопутствующее этому. Ведь появился же некогда в газете обширный подвал с очерком о "плодотворных всходах" поэзии и прозы, что зазеленели на ниве израненной страны! И всходы эти назывались многообещающим будущим новой белорусской литературы. А он — Янук Бахмач, разве не был одним из пышных стеблей на этой ниве?..

Пылкое воображение юноши рисовало картины его торжественного появления в редакции. Вот входит он в большой, отлично обставленный кабинет. Сначала открывает солидные, не скрипящие двери и входит если не на Парнас, то на какой-то литературный Олимп по крайней мере. Кругом стучат на машинках секретарши, а самый главный редактор, которого и надо было увидеть, задумчиво диктует какой-то текст. Он похож на учителя Соболевского, только помоложе, и шевелюра у него. Лицо — воплощение озабоченной меланхолии и едва сдерживаемых творческих порывов. Во всем облике чувствуется интеллигентность преданного труженика литературы. Одет в красивый, солидный костюм.

Янук, понятно, остановится на пороге, ожидая, чтобы его заметили. Но все заняты страшно. Ничего! Хлопец спокоен — ведь он пришел в храм белорусской культуры. Можно и обождать минуто-две. Ведь он же не уведомлял, что придет...

Но нет... Смотри-ка! Сам редактор, словно отрешившись от своего творческого дурмана и осведомленный по волшебному телетайпу, что на пороге редакции вырос как раз тот самый "плодотворный стебель с литературной нивы", останавливает свою секретаршу и бежит Януку навстречу.

— А, браток мой, заходи, присаживайся! Привет тебе... — говорит он с отцовским обаянием в голосе, и дружеская рука сжимает неуклюжую юношескую ладонь. Чуть прищурив глаза, он обнимает хлопца, и тому кажется, что этого душевного человека и выдающегося деятеля белорусской культуры он знал давным-давно. Особенно умиляет это сердечное обращение на "ты".

— Как же тебя зовут? — допытывается редактор.

— Янук Бахмач, — отвечает ошеломленный юноша.

— Бахмач?.. Читал, читал, как же не читать?! Такие прекрасные вещи! Поэт из тебя будет замечательный. Мы сразу заметили твой талант. Так что позволь...

И редактор просит у всех минуту внимания. Замирают машинистки; девчата с ин-

тересом разглядывают чубатого синеглазого блондина.

– Пришел до нас, – говорит редактор, – выдающийся белорусский литератор. Великие надежды на него возлагаем и рад я представить его. Поэт и прозаик – Янук Бахмач.

От радости слезы выступают на глазах Янука. Все потрясены. Редактор уводит его в свой отдельный кабинет...

О наивные юношеские мечты!.. Сладость их была простительна нашему незадачливому Януку. Мог ли подозревать наш герой, что его горячий патриотизм перечеркнут суровые реалии жизни, давно перечеркнувшей всякую рациональность?

И реальный – не воображаемый – Янук шагал по разбитым тротуарам, обходя воронки. Вспомнилось ему об отце. Кто знает, будь сейчас батька его возрасту, не мечтал ли бы он так же? Разве не хвалился он Януку, каким героем некогда жил в Петербурге? Как разгуливал с девушками по Невскому, танцевал кадрили, слушал Шалапина в "Демоне", да разглядывал памятник конному Петру! Послушать его, так – ого! – каким щеголем он был. Но – Господи! – не позволяй мне осуждать его! В семье давно беда, и за всем теперь: чтобы накормить всех, одежду какую раздобыть, – за всем смотрят батьковы очи. Разве ж это теперь тот человек, что мог мечтать, как Янук?..

Небось, сейчас сгорбленный Прокоп Бахмач ворочает на поле сноп сена. А рядом изможденная труженица со жгутом в руках и с серпом на плече. И вздох: "Боже ж ты мой! Работаешь, работаешь, а помрешь – никто о тебе и не вспомнит!"

И снова вспоминается отец – уже осенней порой. С печи свешиваются скорченные босые ноги его, а рядом – януковы и брата Миколки. И склоняя усы свои к их стриженным овечьими ножницами головам, отец говорит: "Эх, сынки мои, хорошо вспомнить годы мои молодые в Петербурге!"

Льются отцовские рассказы и вместе с ним путешествуют мальчонки над Невой, подтягивают ему "коробушку", узнают про какую-то "камаринскую", да подпевают про "геройскую гибель Варяга".

Где и с кем всё это происходило? Это был человек из другого мира: самородный интеллигент, которого родное безземелье на чужой берег вытолкнуло... В слабо освещенной конторе днями скрипел он пером, используя свой изумительной красоты почерк. Потом одевал костюм со смешными брюками в дудочку, галоси и путешествовал теми же самыми, может быть, закоулками, где бродил когда-то, боясь очередного приступа эпилепсии и создавая в своем воображении Раскольниковца, Достоевский... А сын его теперь шел по минским улицам, распаленный патриотическим жаром. Перед ним – Верхний город, площадь Свободы и его новый Парнас...

Именно здесь, от площади, отходила та желанная (так и всплывала в глазах магнитом притягивавшая газетная строка адреса) улица Алеся Гаруна. И сама редакция была здесь, на углу, около площади Свободы.

Янук стоял, приглядываясь. Узкая улица почти не пострадала от войны. Вдали виднелись какие-то мастерские, толпилось довольно много народу. На большой белой доске черными буквами красовалось название: улица Алеся Гаруна. Многим ли улицам в Минске присвоены белорусские названия? Многие ли из них имеют надписи вообще? А здесь всё, как надо. На двярах двухэтажного здания Янук разглядел две другие надписи: "Белорусская Газета" и "Сельский Голос". Крепко забилося его сердце и дрожащей рукой он открыл дверь.

Какой-то проход. Пустая, неудобная комната, освещенная единственной электрической лампочкой. Полутемно и как-то дико. За одними дверями что-то пилили; из-за других дверей доносился стук пишущей машинки. Туда и ткнулся Янук. Машинистка удивленно воззрилась на него. – Скажите, пожалуйста, где редакция? – спросил Янук. – Идите вверх по лестнице, – дежурным голосом отозвалась машинистка и снова застучала на машинке.

Скрипучие деревянные ступени привели его на второй этаж. Три двери; на них никаких табличек. Янук выбрал среднюю дверь и очутился в комнате, где около стены располагался длинный стол, за которым, склонившись над бумагами, сидели двое: жен-

щина с лицом кавказского типа и средних лет мужчина, светловолосый и, что называется, без особых примет. По-видимому, оба были очень заняты. Женщину Янук видел раньше на фотографиях в школе – это была известная поэтесса. Мужчину он не знал.

Слева стоял большой шкаф, а рядом – длинная скамья. На стене висел герб "Погони" и тут же – карта Европы.

– Добрый день, – сказал Янук, снимая шапку.

Никакого ответа. Только поэтесса кивнула головой.

– Могу я видеть редактора? – спросил Янук.

Снова никакого ответа. Сидящие за столом продолжали свой разговор.

Оробевший Янук не знал, что делать. Он потоптался несколько секунд и затем сел на скамейку у стены.

Из долетавших до него слов Янук понял, что разговор касался переделки какой-то исторической драмы. Мелькали архаичные слова и выражения. Вероятно, это писалось либретто оперы. Автором, конечно, была поэтесса. В тяжелых военных условиях Минский театр возобновил свою работу, возрождая многое, уничтоженное прежде большевиками. Ровные голоса сидевших за столом людей создавали впечатление их полной погруженности в давнюю старину. Возможно, они вообще не замечали юношу в серой свитке, а если и заметили, то, пожалуй, тут же забыли о нем.

Шло время и Янук начал нервничать. Лучше было бы встать, извиниться и выйти, но не хватало смелости на это. Ясно, что он мешает своим присутствием. Но это был тот случай, когда человек, сбитый с толку, сам себя загоняет в тупик. И Янук продолжал сидеть, сконфуженно глядя на пару за редакционным столом.

Мужчина, между тем, взглядывал на него все чаще и, как казалось Януку, всё пристальней. Потирая подбородок, всё чаще дергал головой. Женщина казалась совершенно бесстрашной. Внезапно глаза мужчины загорелись колючими искорками, он в упор взглянул на Янука и заорал:

– В-о-о-н!

Януку будто в лицо кипятком плеснули. Он заерзал на лавке, еще не понимая вполне, что происходит.

– Вон, тебе говорят! Чего сидишь здесь? Не видишь, что мешаешь нам?

Мужчина приподнялся над столом и, казалось, готов был броситься на парня. Янук встал и буквально выскочил за дверь. Он был переполнен стыдом и негодованием. Найти бы сейчас какую-нибудь дыру и забиться в нее, чтобы никого не видеть! Какой позор! И внутренний голос начинал нашептывать: "Вот тебе и Парнас! Так тебе и надо! Куда полез? Разве ж ты им ровня? Мужик ты лапотный.."

Не зная еще, что будет делать дальше, Янук вышел на улицу. Здание редакции, в которое недавно он входил с такой радостью, казалось теперь холодно-враждебным. На углу он остановился перед кипой газет, которые продавал какой-то хлопчик. Большой заголовок "Белорусской газеты" возвещал: "Новые победы Великой Германии". Янук зашел в ресторан, заказал чаю и съел какую-то булку. Затем долго блуждал по городу, мало что видя. Перед глазами то и дело всплывала сцена в редакции. Как такое могло случиться и что теперь делать?..

Янук всегда старался докопаться до корня причин тех или иных событий. Сейчас же он не мог найти никакого рационального объяснения. Слишком много неизвестных. Откуда, например, взялся этот злой дядька и кто он вообще такой? Да и в чем, собственно, повинен он – Янук? Разве в редакции не желают видеть посетителей, разговаривать с теми, кто присылает им материалы, знать, что делается в провинции, в народной гуще? Если так, то почему бы им не повесить объявление о нежелательности визитов?..

И какой контраст между воображавшейся ему картиной встречи его в редакции и реальностью?.. Из своей скромной школьно-литературной эрудиции Янук старался подобрать примеры по аналогии с его положением. Вспомнился Оливер Твист с его словом "ещё". С ним было, кажется, более сорока таких же голодных, как и он, но те запуганно молчали. А он, наивный, протянул пустую мисочку для добавки и увидел обрюзгший подбородок и заплывшие жиром глаза. И само собой у Янука вырвалось:

– А здесь?..

Он — стебелек с той "пышной нивы", осмелился на сеятеля посмотреть, узнать, что в амбаре делается. И в ответ — "Вон!" Прямо ситуация Оливера Твиста в новое время, только Янук не просит "ещё", а потребовал к себе немного внимания. Диккенса читал Янук в польском переводе и запомнился ему маленький Оливер.

Впрочем, должны быть и другие примеры. Может, в белорусской литературе? Но ничего не вспоминалось сходного. Однако в жизни белорусской наверняка такое случилось. Взять хотя бы судьбы Янки Купалы, Якуба Коласа, Тётки, Богушевича, Богдановича. Наверно, приходилось им сталкиваться с бездушными чиновниками, что гонят людей вон. Однако никто этого не изобразил...

А на следующий день Янук сидел перед Вершинным — тем самым журналистом, который про "нивы" и "стебли" писал. Это был человек лет сорока, но по виду очень молодой, с волнистым темным чубом волос. Вершинный говорил тихим веским голосом:

— Взять хотя бы ваше первое стихотворение "Если б был я орлом". Для первого опыта неплохо...

Он развернул перед собой папку годовой подшивки газеты и прочел вслух:

Когда я недавно на солнце глядел,
Желал я, чтоб в высь вдруг орлом полетел.
Над краем родным я кружил бы кругом.
Ах, как было б славно — будь я орлом!

— Ну что об этом можно сказать? Ритм и рифма вроде бы в порядке. Мысль есть. А вот поэзии, пожалуй, нет. Насколько помню, кто-то вас правил, может быть, я сам. Для первого раза ничего, но... Видите, у вас первые две строчки кончаются глаголами? Так любой ребенок сможет рифмовать, а в настоящих стихах этого избегать надо. Почитайте Богдановича или Купалу — сами убедитесь... Вообще же в ваших стихах проблемски поэзии имеются, однако только проблемски, понимаете? Вам нужно больше к жизни приглядеться, в ней поэтического очень много — и горького, и сладкого. А так, полет у вас есть...

В комнате, соседней с той, откуда вчера злой дядька с колючими глазами выгнал Янука, кроме Вершинного, никого не было. Янук внимательно слушал его объяснения, невольно завидуя их критической легкости и той литературной эрудиции, которая чувствовалась в его собеседнике.

После получасовой беседы они распрощались, Вершинный пожелал Януку творческих удач, крепко пожал руку и посоветовал зайти к секретарю за гонораром. Спустя некоторое время Янук вышел из редакции, с удовлетворением ощущая в кармане полученные сорок три марки. Первый в жизни гонорар!

В ушах всё ещё звучали слова напутствия Вершинного, который советовал ему перечитать его статью о "ниве". В ней много такого, над чем стоит задуматься...

— И верно, стоит, — решил для себя Янук, уже покидая разрушенную войной столицу.

(Сокращенный авторизованный перевод с белорусского)

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА

* * *

Мой пятилетний юбилей —
бокал вина и круг друзей,
невыносимо узкий.
Проблем-колючек карусель,
почти что русская метель
и быт —
почти что русский.

Клонится долу голова:
другая начата глава...
Но все молюсь надежде.
Я солью англичкой сыта,
и хлебосольство неспроста
люблю верней,
чем прежде.

Каков бы ни был переплёт,
пусть хоть убьют,
как птицу —
влёт,
мечту мою развеяв.
Заокеанский перелёт —
с немилой Родиной расчёт.
Он —
не для юбилеев.

1979 г.
Торонто.

П е с н я р

Данчику посвящается.

Сердце трогает голос,
словно луч,
золотой —
в чистом поле криницы
со студеной водой.
Гнутся вербы под ветром,
ночь Купалы цветёт...
Сквозь все песни невестой
Белорусь проплывёт.
Пролетит журавлями,
вдаль крылами маня..
Не терзай же гитару
и с гитарой — меня.

А расстанемся с песней
на родных расстанях —
босоногой Олесей
песни скажутся в снах.
Расцветут синеоко
васильками во ржи...

Ты про русые косы
снова мне ворожи.
Снова пой мне в Нью-Йорке
про озер зеркала,
про дубравы и зорьки
и того журавля,
что летит на Полесье —
хоть стреляй, хоть лови...

Пусть хранят тебя песни —
два крыла,
две любви.

* * *

Голубое небо.
Золотое жито.
Сколько Украиной
было пережито!

Где без края —
небо,
поле — в полобхвата,
ни краяхи хлеба
не бывало в хатах.

Стонут чернозёмы,
сушит солнце жаром.
Тянутся обозы
с дому —
как с пожара.

Соляной дорогой,
лишь от слёз солёной,
вглубь,
в Сибирь,
в остроги
путь неутолённый.

Скоро, да не споро —
путь от дома долог —
до канадских прерий
докатился вблок:

Оглянёшься — стынешь
и седеет волос :
трудно приживался
украинский колос.

Но зато Канада
радостно гордится
солнечным разливом
золотой пшеницы.

А садочки наши
осеняют клёны...

Там, где вольным — воля,
всегда рай —
спасённым.

ХРОНОС

Чёрные люди
на белой стене.
Солнце слепое
на яром коне.
Светом слепящим
воздух кипит.
Глазом слезящим
щурится Крит.
В свете отвесном
высится твердь.
Нить Ариадны —
сказка теперь.
Солнце — Циклопом.
Где ты, Тезей?
Черною шалью —
вплоть до бровей.
Тень — наслажденье.
Нету её.
Прошлого тени —
нам —
бытиё.

Долго ли, коротко ль
время летит
и —
каменеет
на острове Крит.

* * *

Родиться б на Родосе –
радостью полниться.
Солнца пресветлого
огнепоклонницей.

Храма высокого
жрицею строгою
быть приглашенной
на игрища богovy.

Любо –
не ладно ли? –
нимфой кудрявою
щедро одарена
светом и славою.

Все, кто не избраны,
пусть посторбнятся –
Гелием жарким
взята
в полюбвницы.



ПИСАТЕЛЬ И ЭКОНОМИКА

Может ли писатель разобраться в экономике? Такой вопрос возникает при чтении книги И.Ефимова "Без буржуев" ("Посев", 1979). Разобраться без помощи гигантской "схоластической науки, около которой кормятся тысячи доцентов и профессоров, докторов и кандидатов марксистской экономики социализма" (стр. 27), без опоры на писания "прохвостов, плагиаторов и карьеристов, основная масса которых тянется в сферу социальных и экономических наук" (стр. 269). Соглашаясь с И.Нфимовым в оценке схоластической науки и ее деятелей, я полагаю, что его "антиэкономика" накладывает на реальную действительность новый слой непонимания и путаницы, только на этот раз – на оборотную сторону медали. Вообще, вторжение писателей в специальные проблемы имеет в России определенную традицию. Не касаясь даже печальной памяти описания Львом Толстым юридической процедуры в романе "Воскресение", можно вспомнить трагические тридцатые годы с их разгулом беззакония. Как замечает В.Шаламов, "беллетристическое толкование юридических категорий играло тут не последнюю роль. В качестве теоретиков права выступали почему-то писатели и драматурги". ("Колымские рассказы", Лондон, 1978, стр. 435).

Нельзя сказать, что И.Ефимов совсем не понимает опасности своего кавалерийского наскока на экономику. В какой-то мере он чувствует, что разбирать экономические проблемы народного хозяйства должны в первую очередь специалисты, плановики предприятий. Но "разговорить их, – замечает он, – получить более подробную информацию о способах ведения отчетности оказывается почти невозможно" (стр. 215).

Я думаю, что И.Ефимов плохо искал нужных специалистов и плохо пытался понять их. Как пример он приводит следующий случай. Один инженер просил свою приятельницу, начальника планового отдела, помогавшую ему во всех трудностях, прочесть ему краткую лекцию о работе плановиков, чтобы ему не бегать к ней за всякой мелочью. Она категорически отказалась: "Зачем тебе это нужно? Не надо тебе этого знать. Начнешь еще вникать, разбираться – ничего хорошего из этого не выйдет". Ефимов возмущен этим и подозревает всех плановиков в грязных делах. Но решился ли бы он обратиться к врачу за краткой лекцией о медицине, чтобы не бегать к нему со всякой мелочью? И согласился ли бы он прочитать краткую лекцию по своей специальности – инженерному делу, чтобы профаны не затрудняли себя согласованием технических проблем со специалистами? Наверное, не согласился бы, т.к. знал бы, что результат таких действий может быть только один – авария.

И в экономике у Ефимова "аварии", действительно, происходят. Вот он, решительный не понимая сущности ценообразования, заявляет, что "можно заявить, что заводы из любви к вооруженным силам отпускают им пушки по рублю штука, и затем включить получившиеся цифры в официальный отчет – никто и глазом не моргнет" (стр. 11). Увы, моргать придется: в отчете по прибыли при этом образуются громадные убытки. Ведь рабочим за производство пушек приходится платить не по рублю штука, а рабочим по выпуску стали для пушек – не по рублю тонна. Презрение к советской системе отчетности приобретает у Ефимова анекдотические формы. Один анекдот он рассказывает сам: "однажды Политбюро запросило у Статистического управления *настоящую* сводку выполнения плана по стране, но документ этот произвел такое тяжелое впечатление, что его велели унести и никогда больше не показывать" (стр. 12). Но рассуждения самого автора перехлестывают любой анекдот. "Никакой настоящей сводки в условиях социализма существовать вообще не может, – пишет он. (Там же). Центральное статистическое управление ничего поделать не может, ибо липовые цифры текут с фабрик и стройплощадок" (стр. 10). Выходит, И.Ефимов убежден, что Политбюро не знает, сколько пушек выпущено? Что это – анекдот или наивность?..

И.Ефимов пытается привести несколько примеров "липовой информации". Предприятия, по его мнению, дотягивают выполнение плана любой ценой – снижая качество продукции, определяя урожай по тому, что выросло, а не по тому, что убрано, закупая недопроизведенное масло в соседнем районе, где оно уже записано как сданное, – и за это их еще похвалят (стр. 14). Примеры, надо сказать, довольно беспомощные. За качество пушек можно и без головы остаться, но и за нестандартный "ширпотреб" можно потерять должность. Если ширпотреб часто плох, то виной тому – плохой стандарт, т.е. низкое качество заранее уже учтено в плане. Впрочем, И.Ефимов сам рассказывает о невоенной продукции высокого качества: фотоаппарат "Любитель" исправно служил ему 25 лет, ручные часы "Победа" – 19 лет, холодильник "Ленинград 2" – 17 лет (стр. 332). Что касается определения "биологического", а не "амбарного" урожая, то эта пропагандная методология была спущена сверху, а не осуществлялась снизу любителями "липы". Но одновременно существовал и отчет о *сданной* государству сельскохозяйственной продукции, который и представлял "настоящую сводку". А вот как закупить в соседнем районе *сданное* государству масло? – Неужели же взломом государственных складов? Вот к каким нелепостям можно прийти, отрицая систему статистики.

Источниками для написания своей книги И.Ефимов сделал критические статьи советских газет. Он убежден, что если там и есть отклонение от действительности, то лишь в сторону преуменьшения недостатков. Обратная возможность автору и в голову не приходит, хотя он мог бы вспомнить о степени правдивости ураганной критики в годы борьбы с "вредителями". Возьмем первую же цитату из открытой автором золотой жилы. На московском автозаводе им. Лихачева некие пареньки, едва придя в цех, начали фрезеровать почти вдвое больше деталей в смену, чем старые кадровые рабочие: 100 деталей вместо 60. Но не выдержав недовольства кадровых рабочих, они с завода ушли (стр. 31). Неужели И.Ефимов не видит невероятности этого события? Не напоминает ли это ему другое достоверное известие: забойщик шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов вырубил за смену 102 тонны угля при норме 14?.. Следовало поднять кампанию по пересмотру норм – вот журналистам и подготовили соответствующий факт. А уж там была ли норма на эту деталь случайно заниженной или этим паренькам были созданы особые условия, – это уже проблема техники руководства.

Иными источниками для И.Ефимова послужили изданные на Западе книги, например, "Разворованная республика" И.Земцова. Замечательный штурм описан в этой книге, – сообщает И.Ефимов. – До Нового года осталось 56 часов, а нехватает 15 % годового плана. Завод гонит бракованные изделия, выпускает холодильники без моторов, одалживает электрoutюги у сотрудников; всё это везет на склад, и вот – за полчаса до боя курантов – штурмовой шашка кончается успешно (стр. 42). И все эти подсудные дела происходят в присутствии представителя республиканского ЦК!.. В одном месте И.Ефимов отмечает, что с некоторых пор он научился внимательно читать газетное хвастовство и обнаруживать пустоту победных цифр (стр. 147). Но изучать критические цифры он не научился. Элементарный расчет показывает, что 15 % годового плана – это двухмесячный план. Самый отчаянный директор не решился бы приписать двухмесячную продукцию: ее ведь и за год не наверстаешь, а приказы на отгрузку и реализацию сданных на склад изделий начнут приходить из министерства уже завтра. Даже в Азербайджане – это неминуемая тюрьма, а потому "замечательный штурм" приходится отнести к категории плохо скроенных мифов.

Столь же нелеп другой пример, взятый Ефимовым из книги Земцова. Одна из азербайджанских артелей выпускала "налево", без документов, краску из эрзацев, в нарушение технических условий. Но "когда у завода трещали показатели по производству основной продукции, часть эрзац-краски записывалась в счет вала" (стр. 234). Показатели трещали, конечно, из-за отсутствия основного сырья, т.к. рабочими, даже для левой продукции, завод был обеспечен. Как же можно было провести по отчетам продукцию, сделанную из неполученного сырья? Ведь это опять-таки – верная тюрьма. Как видим, липовыми фактами снабжает нас не только советская пресса.

А вот еще один случай некритического использования зарубежной информации.

Цитируя уже хрестоматийные воспоминания В.Перельмана о "Литературной газете" как Гайд-парке при социализме, И.Ефимов описывает, как консультант ЦК упрекнул "Литгазету" за статью о низкой зарплате инженеров, когда никакого повышения окладов им не планировалось (стр. 24). Однако зарплата инженеров в 1974 году была повышена примерно на 20 %. Почему-то эту газетную информацию И.Ефимов не использовал.

Основное внимание Ефимов уделил критике действующих экономических показателей. Он не понял, что волна газетных обличений была вызвана подготовкой новой реформы показателей, введенной постановлением от 12 июля 1979 года. И вот автор подобрал множество цитат, чтобы показать "чужовищность валовой продукции, не поддающейся никаким реформам" (стр. 201). Да, газеты писали примерно так. И – как ни странно – "очерняли действительность". Вал как показатель имеет две функции – регистратор и измеритель. Вал регистрирует факт изготовления продукции. В этом качестве после реформы 1965 года он был заменен реализацией. Теперь уже невозможно было гнать бракованную или не нужную заказчику продукцию на склад – ведь ее продать не удастся и план останется невыполненным. Бесполезной стала штурмовщина – если даже любой ценой сдать изделия на склад в последнюю минуту, реализовать их в срок уже все равно не удастся. Заказчик получил значительную власть над изготовителем – ведь часто только от его доброй воли зависела своевременная оплата счетов и выполнение плана по реализации. Об этом газеты не писали, поэтому таких цитат в книге нет. С другой стороны, вал измеряет темпы роста продукции и производительности труда. В этом качестве вал имеет тот порок, что в него входит стоимость материалов. При изготовлении того же изделия из разных материалов стоимость продукции резко меняется. Газеты об этом писали с наивным возмущением, но экономисты давно это знают, и еще в начале 60-х годов был предложен и испытывался новый показатель – чистая продукция, т.е. вал за вычетом всех материальных затрат. После очередной кампании газетного очернительства постановление от 12 июля 1979 года отменило вал и в функции измерителя, введя, наконец, для этой цели чистую продукцию. И теперь все цитаты по поводу чудища-вала обратились в пыль.

Забавно, однако, когда Ефимов принимает за чистую монету нападения газет на предприятия, отказывавшиеся шить рубашки из дешевых тканей взамен дорогих нейлоновых, или применять биметалл взамен нержавеющей стали, в 4 раза более дорогой. Ведь министерству стоило не выделить фонды на дорогое сырье, а дать дешевое, – и вопрос моментально был бы решен. Чего же стоит это газетное возмущение? Нет, не слепой показатель управляет промышленностью, а Госплан, который, очевидно, был согласен с происходящим. А, может, тот биметалл еще не освоен в производстве?

Еще забавнее, когда Ефимов яростно нападает на несуществующий показатель – фондоотдачу. "Любое усовершенствование упирается в эту стену – страх сорвать план по росту фондоотдачи" (стр. 214). Ученые-схоласты упорно предлагали этот показатель, его широко обсуждали в газетах и кое-где испытывали, но ни реформой 1965 года, ни в 1979 году фондоотдача введена не была, в связи с ее практической бессмысленностью.

О прибыли И.Ефимов имеет весьма смутное представление. "На основании реализации, производительности труда, фондоотдачи и еще некоторых величин подсчитывается прибыль, – пишет он. (Там же). На деле, прибыль равна реализации минус себестоимость. Очень ясно и просто. Но о себестоимости автор вообще ничего не знает. Единственное упоминание, имеющееся на этот счет, – неверно. "Если вы используете более дешевые материалы – это не войдет в счет снижения себестоимости" (стр. 204). Это именно *войдет в счет*, и в сталинские времена немало эрзацев искалечили качество продукции в погоне за снижением себестоимости. Теперь такая замена должна быть утверждена в стандарте.

Совершенно не учитывает Ефимов взаимодействие показателей, которое парализует многие "выгодные" возможности. Да, конечно, удобно выпускать более дорогие изделия взамен дешевых, или простую продукцию взамен сложной, да вот беда – то номенклатура не позволяет, то прибыль не выдержит. Четыре показателя – номенкла-

тура, реализация, прибыль и производительность (а теперь и чистая продукция) почти с "чудовишной" силой заставляют предприятие делать именно то, что записано в план. Да еще надо учесть грозные телефонные звонки сверху с приказом немедленно выпустить такое-то изделие для такого-то завода.

Особую неприязнь И.Ефимов питает к изменениям плана среди года. По его мнению, это — одно жульничество (стр. 242). Ему, очевидно, по душе железобетонные планы, навтворившие столько бед в сталинские времена. И если сейчас нереальные планы изменяются — чему тут возмущаться?

Системы учета строительных работ автор также не понимает. "Контроль за выполнением плана у строителей, — пишет он, — идет по тому, сколько они *истратили*" (стр. 54). На деле, контроль ведется по тому, сколько они *освоили*, т.е. выполнили работ согласно проекту и смете. Поэтому описываемый автором пример натяжки выполнения плана у строителей путем затрат на электроэнергию, когда включили без всякой нужды на круглосуточную работу все механизмы, — просто абсурден. Поскольку эти затраты не создавали никаких объемов работ, они могли только повысить себестоимость строительства и уменьшить прибыль.

В своей книге И.Ефимов высказывает мнение, что 3,5 млн. инженеров для СССР много и реальной работы для них нет (стр. 179), сравнивая это с тем, что в США — 1 млн. инженеров. Но так ли верен пример США? Как раз недавно "Голос Америки" передавал, что в США ощущается нехватка инженеров и избыток гуманитарных специалистов. Затем следует учесть, что если в США руководители и чиновники всех рангов (в том числе секретари-референты, получающие не меньше инженеров) — гуманитарные специалисты, то в СССР страной сверху донизу руководят инженеры. И можно полагать, что в промышленности СССР работает меньше инженеров, чем в США.

Автор неверно считает, что промышленными предприятиями руководят партийные органы. В подтверждение он приводит мнение делегации английских рабочих, что "на заводе управляет не дирекция, а партком" (стр. 297). Но вполне понятно, что приемом иностранцев занимался именно партком; у дирекции хватает дел по выполнению плана. Ефимов думает, что партия никогда не сможет примириться с тем, чтобы на руководящие посты выдвигала не она, а какая-то Эффективность (стр. 327). Но именно партия и вводит все показатели эффективности, и те, кто не выполняет их, будут неизбежно сняты с работы ("государственный план — это закон").

Критикуя софизмы Маркса, утверждавшего, что частный предприниматель никакой полезной работы не производит, Ефимов совершает ту же марксистскую ошибку в отношении руководства промышленностью в СССР. Поэтому ему кажется бессмысленной позиция диссидентов, которые, по его свидетельству, говорят следующее: "Мы требуем расширения личных прав и свобод в нашем отечестве, но не требуем доли в управлении хозяйственно-промышленным комплексом, ибо не знаем, как им управлять без созданной вами машины" (стр. 320). Но управлять хозяйством без "машины" специалисты — будь они владельцы или управляющие — действительно невозможно. На мой взгляд, совершенно прав был А.Гинзбург, сказавший недавно в Париже: "Я думаю, что все сегодняшние диссиденты, включая самых широко известных, не могли бы не только страной управлять, а и обычной железной дорогой; это в XX веке очень сложная наука, как я себе представляю". ("Русская Мысль", 27 декабря 1979 г.)

Можно бы еще долго перечислять ошибки в понимании экономики, допущенные Ефимовым. Однако укажем в заключение, что последний раздел его книги "Есть ли выход?" — очень интересен. В двух главах излагаются взгляды лояльных ученых — схоластов и диссидентов. Затем приводятся очень оригинальные мнения "вольных прожектеров". В частности, они считают, что при введении рыночного хозяйства Прибалтика начала бы богатеть, Средняя Азия — нищать, на Кавказе корпорации приобрели бы мафианский характер. При нынешних условиях Средняя Азия и Кавказ обогнали северных "братьев" по уровню коррупции, т.е. по скорости отъедания от общегосударственного пирога. В главе "Разве нет ничего хорошего?" проводится мнение, что наличие мира внутри огромной империи от Эльбы до Амура — это истинное чудо и благо, "зная давнишнюю рознь населяющих эти земли народов". В главе "Чем мы живы" рассказы-

вается о появлении "новой породы" одаренных и энергичных работников, которые трудятся на совесть и обеспечивают движение всех уровней системы. И, наконец, в главе "В зеркале демографии" автор говорит, что есть один косвенный показатель, который дает хотя бы приблизительный ответ на вопрос – каково живется народу. Показатель этот – изменение его численности. Наименьший рост наблюдается у украинцев (жертвы коллективизации), белорусов (бездарное ведение войны), казахов (борьба с басмачами), латыши и эстонцы дали нулевой рост, а евреи "за относительно благополучный период 1959-70 гг." уменьшились в числе.

Говоря о книге в целом, нельзя не согласиться с автором, что введение социалистического строя неминуемо ведет к насилию, бедности и миллионам крупных и мелких трагедий, возникших на почве тысяч всевозможных запретов (добавим, что социалистическое насилие может быть обряжено в демократические одежды – как в Израиле). Но нельзя толковать экономику беллетристическими или схоластическими методами. Будучи примененными на практике, эти схемы неизбежно приведут к разрушению экономической жизни.

В. ИНГУЛ

Ф А Н Т А З И Я

Фантазии моей – свободу и дорогу!
Она – вдова с тех пор, как муж ее, педант,
и филистер, мой разум отдал душу Богу,
и, как вдова, теперь она живет

Дорогу ей, рабы-невольники искусства!
Ее парение зажжет в сердцах пожар.
И дочь великого, святого безрассудства
возложит на себя из всех земных тиар

наипрекраснейшую!.. Бедные потомки,
им в будущем совсем придется позабыть
о гордом, царственном уме. И, взяв котомки
и длинный посох в путь, они пойдут бродить

по неизведанным до них еще дорогам
и жизненным путям – без мнимых сил ума.
О, как бы я хотел их страхам и тревогам
смеяться по пути, смотреть, как жизнь сама

танцующим огнем им поослабит зренья!
О, если бы они могли узнать тогда,
что точно так же шли мы в полном помраченьи
в тот дивный, славный век, когда еще мышленье,
вся сила Разума была, как Бог, свята!

Мих. АРМАЛИНСКИЙ

(Из готовящейся к печати четвертой книги стихов
"По направлению к себе".

В книгу включены стихотворения 1972–76 гг.).

* * *

Мириться с плотью — все, что нам дано,
терпимость к ней доходит до предела.
Меня при жизни тяготит одно —
потусторонность собственного тела.

Оно живет законом зычной крови,
сокрытым от разумности моей,
оно то ненавистней, то милей,
в зависимости от его здоровья.
Я знать о нем не знаю, но оно
докучливо меня знакомит с болью —
и кровь вдруг превращается в вино:
чем боль сильнее, тем я пьянею боле.

Я → дух, но должен называть собой
его сомнительное окруженье.
Вот так обожествляется собор
лишь потому, что в нем — богослуженье.

* * * .

Слова канючу у старинных чувств,
прижимистых до слов, желанных мною.
В темнице ощущений я мечусь,
отторгнутый безмолвною стеною —
не отодвинуть на двери засов.
не отодвинуть на двери засов.
Что ж, в злобе на бессилие надуться?
Пишу о том, что не хватает слов —
для этого всегда слова найдутся.

* * *

Ко мне напрашивалась робость,
и страх со мной был очень смел.
Я заглянул в себя, как в пропасть,
но отшатнуться не сумел.

Я знал, что жаворонка песня
свила гнездо в моих ушах,
и я раскрыл объятья бездне
и совершил последний шаг.

И я, имея облик мира,
летел над собственной страной,
я не имел ориентира,
поскольку все являлось мной.

А те назойливые люди,
сумевшие пролезть ко мне,
лишь приносили зыбь иллюзий
в мой мир, отчетливый вполне.

* * *

Я думал, связь — нерасторжима:
так ликовала. Глядь — двулика.
Твоей неверности улика
одна, но неопровержима.

Кто слил отравленное семя
в твой плодородный перегой?
С последующими со всеми
я пожинаю перелой.

А сколько было слов о духе,
о нравственности наконец,
и я внимал им, как юнец
внимает исповедам шлюхи.

Я понял, верность для людей
недостижима, как бессмертье.
А я-то мнил, прелюбодей,
что я единственный на свете.

Но я — трагический поэт,
раз не пою надежду вновь,
и как легко, что веры нет
ни в ненависть и ни в любовь.

* * *

Как много лет прошло с начала,
с тех пор, когда души не чаял,
теперь же холодность во мне
живет, как истина в вине.

И ты изрядно изменилась,
и с кем ты спишь, скажи на милость?
А, впрочем, мне уже давно
всё равно.

Как много жизни я потратил
на то, чтобы тебе потрафить.
А что же вышло из всего?
Ничего.

По окончании азарта
раскрыли мы друг другу карты —
остался всяк из нас двоих
при интересах при своих.

* * *

Генетика сработала — и сын
на мать похож и на отца немножко.
Его кладут, как мясо, на весы
и моют, чтоб не заводились мошки.

Когда младенец с голоду зудел,
мать затыкала ротик соской-кляпом.
Кто б мог подумать, чтобы столько дел
наделала сорвавшаяся капля?

А то ли будет через двадцать лет,
когда дитя, в длину распространившись,
известкой цементируя скелет,
залезть захочет девушке в штанишки.

Тогда опять, как слово с языка,
сорвётся капля продолженья рода.
Так социальный выполнив заказ,
грядет асоциальная природа.

* * *

Книг частокол от быдла охранял,
перо — где ядовитые чернила —
читателям препятствия чинило —
всё было, пониманья окромя.

Текла толпа на тысячи голов,
среди них мелькала и моя головка.
Я для толпы — сомнительный улов:
мне с ней несладко, ей со мной неловко.

Вот ночь. И русла улиц обмелели.
Смотрите, я плыву совсем один.
Участники толпы в кроватях обомлели,
я в склянки окон их бью кулаком: "Динь-динь".

* * *

Пока не выродилась чувственность в слова,
пока в душе неизъяснимое осталось,
до тех времён, чтоб закружилась голова,
лишь самая потребуется малость.

Я и пытаться не хочу перечислять
всё, что выказывает головы круженье —
перечисленье вызовет крушенье
моей способности, словам переча, слать

привет движению. Легко весьма кивать
вослед камням, несущимся в ущельях.
Но лишь слова мне позволяют смаковать
неуловимое в безмолвных ощущеньях.

* * *

Болезненный румянец октября
вновь на лице растений вспыхнул.
Уж скоро кучи листьев вспухнут,
и я не жду от времени добра –
на месте сердца у него – дыра.

И с каждым годом ширится она:
захватывает торс, потом конечности,
и так растёт до самой бесконечности,
пока в неё не упадёт луна.
И вот луну глотает глубина.

Всё начиналось, как всегда, с конца,
не предвещая изменений.
У мироздания – именины:
летит душа, подобием гонца,
поздравить с вечным праздником юнца.

Так долго длится праздник, что уже
он превратился в сумрачные будни.
Но знает жизнь – нет смерти беспробудной.
Октябрь меня встречает в неглиже,
стоит наполненный дождём фужер.

Допей до дна и поглоти плоды,
раскиданные под ногами,
общедоступными, нагими.
В округлые фигуры отлиты
остатки уходящей теплоты.

* * *

Плавкое золото листьев,
точка плавления – ноль.
Отлито золото пуль,
землю разящих со свистом.

Нет необъятней мишени,
чем круговая Земля.
Ствол пустотой изумлял,
пули с мишенью – смешеньем.

Дерево вновь расстреляло
кроны своей патронташ.
Полон плодами ягдташ –
листьям и этого мало:

Солнце – снаряд навесной.
Вновь перелёт. Но весной
точно накроет. И зной
перекуёт в перегонной
листьев налёт на орало.

* * *

* * *

Непоправимо жизнь проходит.
О, время — лучший вышибала!
Лишь тела женского бархотка
наводит блеск на финиш бала.

Когда бы не она, то мысли,
уж вовсе не роясь, а рбясь,
увидели б, как мозг измызган
сомненьем, что в раю устроюсь.

Ведь сняли головы церквушкам,
крестам обламывая шеи.
Психдиспансер — и в нём кликуши,
вендиспансер — там ворожей.

О, женщины! Живей хватайтесь
вы за соломинку мужчины!
Не дайте утонуть, воздайте
за жизнь, ребристую по чину.

Но не спасти им. Захлебнулся
я, морем слов залюбовавшись.
Идя ко дну, не оглянулся,
я, крови солоно хлебавши.

* * *

Я даже не злой. В полном сердце
всё залито кровью. А чувства
посмели настолько раздеться,
что стали невидимы. Чуть не

исчезли — но я-то ведь знаю
их не на глазок, а на ощупь.
И впадина, ясно, глазная —
бездонна. Но мысли — попроче:

щетиным пальцем утычат —
вот похоть, вот страсть, вот влечение —
и всё, а не тысяча тысяч
стремлений вторичных, дочерних.

Начало кончалось немногим,
конец начинался несметным.
Всё снова случилось со мной — и
лишь разве что в этом — бессмертье.

* * *

На голом месте выросла трава,
а на траве — мы с голыми местами.
Опять извечная история права —
и нет различья меж травой и нами.

И снова в чреве зашевелится весна,
и осенью природа расплодится,
и только в том существованья новизна,
что лишь собой возможно расплатиться:
весною беззаветно распалиться,
а осенью бесследно распылиться —
неисчерпаема материи казна.

* * *

Безыдейная жизнь пробежит,
распадаясь на пыль пустыяков,
быт из ветхой материи сшит,
отороченный смехом стихов.

Разум чувства мои сторожит,
чувства разум ввергают во прах.
Безысходная жизнь не страшит,
от бесстрашия этого — страх.





К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕЛОГО И БЛОКА

Проф. ЕКАТЕРИНА КУЛЕШОВА

О ВЛИЯНИИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА НА БЛОКА И БЕЛОГО

В октябре и ноябре 1980 года исполняется сто лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Бугаева) и Александра Блока – двух вершинных представителей символизма. Блок и Белый были связаны друг с другом в течение почти двадцати лет (1903-1921). Связь их закрепились влиянием философии Вл. Соловьева, взаимными стихотворными посвящениями, частыми выступлениями друг о друге в печати, духовной целеустремленностью и многими обстоятельствами в личной жизни. Их имена сосуществовали в сознании современников как некое двуединство, несмотря на полярность их темпераментов и дарований. Слава Блока – самого даровитого поэта нашего века, затемняет достижения Белого – талантливейшего прозаика, поэта и теоретика символизма. Однако его новаторские начинания оказали неоспоримое влияние на развитие жанра прозы и поэзии последующих поколений русских поэтов и писателей.

После увлечения Соловьевым Блок отверг мистику вообще; он не был теоретиком, а его истинное поэтическое дарование и врожденная интуиция приближают его лирику к границам мистического трансa. Если талант Блока можно назвать "интуитивным", то у Белого он – "головной": врожденного теоретика всю жизнь влекло к изучению высших сфер бытия – будь это философия Соловьева, восточная мистика или антропософия Рудольфа Штейнера. Именно из-за мистической "ереси" чтением или изучением Белого почти не занимаются на его родине.

Поэзия и философия Соловьева сыграла ведущую роль в формировании мировоззрения молодых символистов. Белый узнал о нем весной 1900 года в семье его брата Михаила в Москве, там же он встретился с философом. Соловьев заинтересовался идеями начинающего "декадента", они условились встретиться в начале осени, но в июле Соловьев скончался. Белый пишет: "И не сказанное между нами слово стало для меня лозунгом, как стала для меня впоследствии лозунгом его могила, озаренная красной лампадкой... Влад. Серг. был для меня... предтечей горячки религиозных исканий" (1). В доме Михаила Сергеевича собирались "соловьевцы" и установился настоящий культ покойного философа в Москве, захвативший и Петербург.

Блок не знал лично Владимира Сергеевича, но переписывался с "дядей Мишей" (они были дальние родственники). Он видел философа издали только один раз в феврале 1900 года на похоронах одной родственницы. В своей "Автобиографии" и в статье "Рыцарь-монах" Блок пишет о неизгладимости впечатления, которое произвел на него облик "одинокого странника" в его отрешенности (Вл. Соловьев был похож на библейского пророка).

Блок, Белый и многие из поколения ранних символистов свидетельствуют о том, что на рубеже нового столетия они пережили мистический опыт, неожиданный и непосредственный. Из него выросло символическое искусство. Ни у Блока – в то время студента-юриста, ни у Белого – студента-естественника, не было болезненной экзальтации; в искренности их переживаний мы не имеем оснований сомневаться. Ранняя смерть Соловьева на рубеже столетий – провиденциальна для дружбы Блока с Белым. Союз их начался с "братства видящих", его мистическое учение воспринималось ими сквозь призму его поэзии. Молодые сердца волновала философско-эротическая окраска его стихов с их идейной страстностью и пророческим вдохновением. Лирика Соловьева, как и его учение о Софии, основаны на его подлинных мистических переживаниях.

В поэме "Три свидания" Соловьев повествует о своих личных переживаниях – трех видениях Подруги Вечной. Впервые Она открылась ему, девятилетнему мальчику, в праздник Вознесения, в храме во время пения Херувимской. Второй раз – в Британском музее в Лондоне, где он изучал литературу о Софии. Ее голос звал его в Египет, куда он и поехал. Там, в пустыне, Ее облик материализовался перед ним в третий раз (это было в 1875 году).

Свое учение о Софии Соловьев излагает в "Чтениях о Богочеловечестве", в книге "Россия и вселенская церковь" и в статье "Идея человечества у Августа Конта". Самый проникновенный исследователь соловьевской софиологии К. Мочульский (2) считает, что формулировка этой концепции не завершена, а только намечена, что по своей форме учение Соловьева – дуалистично. В "Чтениях" София определяется как Душа Мира и совершенное человечество во Христе. В книге "Россия и вселенская церковь" этого обожествления нет. Душа Мира не есть София, а только носительница, среда и субстрат ее реализации: она – антитип Божественной Премудрости. София есть ангел-хранитель мира, покрывающий своими крыльями всю тварь, и борющийся с адским началом за обладание Мировую Душой. Концепция Софии вбирает в себя и апокалиптический образ Жены Облеченной в Солнце.

В основе метафизических построений Соловьева лежит идея соотносительности земного существования в мире проходящих явлений с миром сверхчувственной, высшей реальности. Идея эта сочетается с надеждами на предсказанные в Апокалипсисе конец мира и наступление эры Третьего Завета, когда будут разрешены все противоречия, искони заложенные в природе и человеке. На этой основе Соловьев утвердил свою концепцию Богочеловечества и царства Божьего как конечного предела истории человечества, торжества вечной жизни и осуществления нравственного мирового порядка. Путь к этому лежит, по Соловьеву, через всемирную теократию – установление свободного богочеловеческого союза, в котором, на почве единой христианской истины, примирятся Восток и Запад. В образе Софии-Премудрости, Вечной Женственности заложена идея Любви как мирообразующего начала и основы нового религиозного сознания. На этой почве сложилась и эстетика Соловьева, целиком подчиняющая искусство религии и мистике. По сути, пути русского символизма были предначертаны в теософии Соловьева.

1901 год был решающим для Блока: в его творческом сознании зародился образ Прекрасной Дамы, а в жизни он распознал Ее воплощение в Любови Дмитриевне Менделеевой, которую он встретил в полумистическом транс. Читая стихи Блока, Белый восклицает: "Блок... единственный продолжатель конкретного соловьевского дела, пресуществивший философию в жизнь" (3). В этом же году Белый испытывал необыкновенный духовный и творческий подъем. Прочитав его первую "Симфонию", Блок пишет: "Действительно страшно и до содрогания "цветет сердце" Андрея Белого" (4).

В первых числах января 1903 года между поэтами начинается переписка: их письма друг к другу скрещиваются в пути, как позже скрестятся их жизненные дороги. Личное знакомство состоялось только через год. Блок был сдержан, молчалив, замкнут; Белый – экспансивен, суетлив, непоседа и говорун. Для обоих первое впечатление было разочаровывающим, но взаимное притяжение победило: они полюбили друг друга, и эта любовь стала для обоих судьбой. Они причинили друг другу много страда-

ний, но та же дружба-вражда в главном определила собой их жизнь — и личную, и литературную (5).

"Стихи о Прекрасной Даме" — поэтический дневник Блока. Из стихотворений, написанных в 1901-02 гг., он отобрал около половины для сборника, распределил их в строго хронологическом порядке и разбил на шесть отделов-циклов. Поэт признавался, что "технически книга очень слаба", но он любил свои несовершенные юношеские стихи, и в последние годы постоянно к ним возвращался: переделывал, печатал в журналах, составлял новые сборники, из которых один — "За гранью прошлых дней", вышел в свет за год до его смерти. По свидетельству Вл. Пяста, умирающий Блок сказал матери: "Знаешь что? Я написал один *первый том*, Остальное все — пустяки." (6). Конечно, ни один из знатоков или любителей Блока с этим не согласится, но здесь есть эмоциональная правда — ведь в этот период поэт пережил "мистический реализм": сочетание глубочайшего религиозного поклонения с человеческой влюбленностью, земного с космическим, поэзии с жизнью!

Мистическая лирика Соловьева стала для Блока, Белого и других молодых символистов священным каноном. Не будучи ни теоретиком, ни мистиком, Блок глубже всех осознал дуальность и монолитность соловьевской концепции и образа Софии. В своем дневнике двадцатидвухлетний поэт внушает себе, что земная любовь ему не нужна. Он жаждет другой любви — самоотверженной и смиренной; его борьба с эротическим влечением похожа на заклинание или самовнушение: "Я хочу сверхслов и сверхобъятий. *Я хочу того, что будет...* Если кто хочет чего, то то и случится.. То, чего я хочу, сбудется". (7). В этом сказывается влияние аскетической эротики, выраженной Соловьевым в его трактате "Смысл любви". Блок унаследовал от Соловьева платоновский эрос и аскетическую брезгливость к полу. Чувственность и страсть у него демоничны: начиная от Незнакомки и кончая проституткой Катькой в "Двенадцати".

В самый возвышенный период его жизни сомнения в достижении идеала приводят его к мыслям о самоубийстве. (8). Как Кирилов в "Бесах" Достоевского, Блок ощущает в самоубийстве высшее утверждение личности и ее воли к жизни. Эти крайности в юном поэте говорят о максимализме в натуре его. С такой же страстностью он воспринимает апокалиптические идеи Соловьева. В письме к отцу он пишет о своем поворотном периоде, о мистике, и называет себя *апокалиптиком*. (9). Предчувствия философа и других апокалиптиков начала века для него — свершение.

Из истинных переживаний юного поэта зарождается неповторимая лирическая мелодия и эмоциональная сила его "Стихов о Прекрасной Даме", усиленная их скрытой диалогической формой: таинственная Дева (а не Дама!) является спутницей сознания лирического героя, в большей половине стихотворений он обращается к ней на "Ты" (интимность и благоговение), задает вопросы, восклицает, ищет поддержки и сочувствия, просит совета и вразумления. Парадоксальность этого сборника стихов заключается в том, что в центре его стоит *мистерия богоявления* (10). Как и Соловьев, Блок верит, что история кончена, что наступает Царство Духа и преображение мира. Он исповедует свою веру в стихотворении с эпитафией из Апокалипсиса — "И дух и Невеста говорят: прииди" — :

Верю в Солнце Завета, / Вижу зори вдали.
Жду вселенского света / От весенней земли...

Заповеданных лилий / Прохожу я леса,
Полны ангельских крылий / Надо мной небеса... (11).

Ко всему сборнику "Стихов о Прекрасной Даме" подходит эпитафия из стихотворения Соловьева: "Знай же, Вечная Женственность ныне / В теле нетленном на землю *идет*" (12). Для Блока здесь утверждение о настоящем, а не пророчество о будущем. В задачу данной статьи не входит разбор стихотворений Блока, но следует подчеркнуть, что даже словарный состав своих стихов Блок заимствует у Соловьева:

И прежний мир в немеркнущем сияньи
Встает опять пред чуткою душой... (Вл. Соловьев).

Прошедших дней немеркнувшим сияньем
Душа, как прежде, вся озарена... (А. Блок).

Соловьев, конечно, больше философ, чем поэт: его Подруга Вечная скорее Премудрость, чем Любовь; стихи его полны теософских размышлений и неразрывно связаны с его философской системой. Блок же вносит в свое почитание Вечной Женственности юношескую страстность, тоску и требовательность влюбленного. Как Белый позже метко заметил, в "Стихах о Прекрасной Даме" – "священное исступление", почти хлыстовское радение.

Но вот у Блока появляется надежда на взаимность его земной возлюбленной в феврале 1902 года; она становится "Владычицей вселенной" – вершиной его поэтического восхождения:

Все виденья так мгновенны – / Буду ль верить им?
Но Владычицей вселенной, / Красотой неизреченной,
Я, случайный, бедный, тленный, / Может быть, любим.

Сомнение в правоте и непоколебимости полумистических видений ("Буду ль верить им?") мелькало в сознании Блока уже в июне 1901 года. Приведу текст этого стихотворения, т.к. в нем отражается и двойственность в духовном взлете поэта, и предчувствие его последующих творческих метаморфоз и исканий. Эпиграф к этому известному "откровению" Блока взят из Соловьева – "И тяжкий сон житейского сознанья / Ты отряхнешь, тоскуя и любя" – :

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду, – *тоскуя и любя.*

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду – и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Так что зачатки будущего перевоплощения Прекрасной Дамы в Незнакомку уже здесь, в столь вдохновенный период творчества. В этом сказывается не только интуитивное прозрение поэта, но и "незащищенность" максималиста-романтика перед грубыми проявлениями жизни, перед ее земной реальностью. Почитание неземной Девы и влюбленность в конкретную женщину соединились в его сознании; сочетание непосредственное и роковое для его человеческой судьбы; сочетание – вдохновенное и плодотворное для его ранней Музы.

Цикл "Стихов о Прекрасной Даме" завершается знаменательной датой 7 ноября 1902 года, когда Любовь Дмитриевна стала невестой Блока. Стихи конца этого года и начала следующего – самые светлые и радостные в религиозно-молитвенном экстазе. Этот торжественный эпизод к первому сборнику позже вошел в отдел "Распутья". В августе 1903 года Блок женился на своей прекрасной даме. Белого пригласили быть шафером на свадьбе, но из-за смерти отца он не смог принять это предложение. По

свидетельству многих (а особенно Сергея Соловьева), атмосфера бракосочетания была мистической, и вокруг жены Блока сразу же образовался культ поклонения. Культ Прекрасной Дамы перекинулся и на Белого, который пережил и влюбленность, и демонический роман с любовницей Брюсова Ниной Петровской, и кратковременное, духовно насыщенное супружество с Асей Тургеневой, а его страсть к жене Блока (13) была наваждением под знаком соловьевской Софии и блоковской Прекрасной Дамы. Удивительно, как магия "монаха-рыцаря" повлияла на жизненное и творческое воображение молодых символистов!

В начале июля 1901 года Белый и Сергей Соловьев (племянник философа) встречаются у Блока в его имени Шахматово. Дни, проведенные в обществе Блоков, остались в памяти Соловьева "днями настоящей мистерии". Он переживает опять большой духовный подъем: казалось ему, что в Шахматове началась новая эра, образовался орден утренней звезды, построился мистический треугольник – Блок, Белый, С. Соловьев, а в центре этой мистерии – мадонна Любовь Дмитриевна. Культ Вечной Женственности осознается им теперь как почитание Мадонны. Веру свою он пытается обосновать философски и пишет статью "О целесообразности". В ней говорится о единстве и цельности переживания, творящего ценности жизни; эти ценности – символы. Понятие о символе связывается с образом Жены Облеченной в Солнце. (14).

Свои ранние стихи Белый объединил в сборнике "Золото в лазури". Самый последний отдел этого сборника, озаглавленный "Багряница в терниях", посвящен лирике яснovidения и мистике Вечной Женственности; а большая половина стихов посвящается памяти Вл. Соловьева, его брата, или же обращена к "братьям" (к Блоку и Сергею Соловьеву). Два основных мотива пронизывают весь этот эзотерический отдел первой книги лирики Белого. Один – объективный – чувство ожидания, чувство приближающегося конца человеческой истории. Этот мотив роднит лирику Белого с лирикой Владимира Соловьева. Второй мотив – субъективный – чувство жертвенности, радость страдания и сознание своей обреченности, в чем сказывается влияние Ницше. Эти два вoждя, два пророка являются как бы двумя перекладами креста поэта. Любовной лирики в этом отделе нет – сознание Белого витает в космических пространствах, в концепциях Вечности (по Ницше) и Мировой Души (по Соловьеву).

Для Белого соловьевские идеи разлиты в самой атмосфере предчувствия конца всемирной истории и грядущей зари, когда два последних мистических лика – лик Звeря и лик Жены Облеченной в Солнце – встанут друг против друга. Чувство конца и ужас последней мировой развязки насытил и зажег лучшие вещи "Золота в лазури" и параллельной им по времени и переживанию первой "Симфонии" Белого.

Парадоксальность раннего творчества Белого – в соединении ницшеанства с соловьевством, а к этому позже добавились идеи и символика из восточной мистики и антропософии Штейнера. Отсюда и проистекает некая хаотичность и причудливость его образов, но символизм Белого всегда граничит с тем единственно-своеобразным стилем, которым отмечен пророческий пафос Апокалипсиса, присутщий и лирике Соловьева.

С Ницше Белого роднит метод субъективной группировки образов с единственной целью рассказать *себя* – спеть о несказанном в себе. В результате получается сложность переплетения мыслей и лейтмотивов, ослепительность колорита, и полусознательное смещение линий перспективы: поэт то творит гимн "возлюбленной Вечности", то его творческим сознанием овладевает Мировая Душа:

Жизни не жаль / мне загубленной,
Сердце полно несказанной беспечности –
образ возлюбленной, / образ возлюбленной – / Вечности!

или:

Чистая, / словно мир, / вся лучистая – / золотая зоря,
Мировая Душа. / За тобой бежишь, / весь / горя, / как на пир,
как на пир / спеша. (15).

В своих мемуарах "Начало века" и "Между двух революций" Белый неоднократно говорит о своем увлечении философией Ницше. Вместе с тем, система мышления Ницше была для Белого неприемлемой. Даже в период увлечения символикой певца Заратустры Белый писал о том, что многое в Ницше ему не по душе – "квиелизм" и эстетствующий компромисс (16). А поздний антиинтеллектуализм Ницше был совершенно неприемлем для Белого-теоретика. Это и сделало возможным для Белого соединение несоединимых имен Ницше и Соловьева под знаком "экзотеризма" – путешествия в надежде отыскать "золотое руно". Интересно, что в статье Соловьева "Идея сверхчеловека" игнорируется отрицательное в философии Ницше, а подчеркиваются его идеи о сверхчувственном пути. Русское ницшеанство вообще, и Белого в частности, стало синонимом индивидуализма, свободы личности. Соловьев же направил поиски молодых символистов в сторону "соборности" на личном и общем уровнях.

Элиас (Л.Кобылинский) считает, что культ Вечной Женственности является основным Символом всей символики Белого, лейтмотивом его идей и всей его лирики, что это "единый живой центр его религии" (17). Не совсем так: в его зрелых произведениях концепция Софии вливается в концепцию Христа и становится символом его духовного возрождения.

Белый один из первых ощутил извращение идей Соловьева среди так называемых апокалиптиков и соловьевцев. Не щадя ни себя, ни своих близких друзей (включая Блока), Белый создает сарж на псевдомистиков в своей второй "Симфонии" (1902 г.). Во вступлении к ней автор объясняет, что произведение его имеет три смысла: музыкальный, сатирический и идейно-символический. Такая многослойность впоследствии станет типичной в зрелой прозе Белого, а ирония – ее неразлучной спутницей.

В этой "Симфонии" идеологический "пейзаж" начала века зарисован с большим мастерством. В членах "кружка" нетрудно распознать и Мережковского, и Розанова, и Блока, и самого автора. Среди "идейных вихрей" обрисован собирательный образ неудачного мистика – Сергея Мусатова. Для него символические образы Откровения – непосредственная реальность: он знает, что Царство Духа уже наступает, что Жена Облеченная в Солнце родит Белого Всадника. Он верит в миссианское призвание России, видит образы Блудницы и Зверя на Западе. Ему докладывают, что Зверь уже родился на юге Франции, но не вышел еще из пеленок в хорошеньком мальчике. К счастью, тревога мистика за судьбу мира скоро рассеивается: он узнает, что Зверь постигло желудочное расстройство и он отдал Богу душу. Но вот Мусатов встречает синеглазую и белокурую Сказку – Жену Облеченную в Солнце, и т.д. Тип мистика в то время еще только зарождался; в сарже больше воображения, чем наблюдения; в нем – вызов максимализму. Контрапункт же этого произведения очень сложен: сарж на неудачного мистика погружен в мистический полусвет, ирония и пафос "религиозника" во второй "Симфонии" почти неотделимы в бесконечном смещении линий перспективы.

В творческой психике юмориста или сатирика всегда имеется элемент самобичевания: аллегорически он ставит себя в положение судьбы и подсудимого и путем иронии, облеченной в художественную форму, избавляется от своих внутренних конфликтов и отгораживает себя от извращений других. (18). Исключительно сильный интеллект и врожденное чувство юмора помогли Белому не только принять грубую реальность жизни, но и преодолеть "кризисы" жизни и культуры (он умер в 1934 году). Парадоксально, что Белый сохранил в своем сознании образы Мировой Души и Христа, несмотря на свои последующие увлечения восточной мистикой и антропософией Штейнера. Соловьев вдохновил его на духовные поиски, Штейнер же указал ему более конкретные пути "йоги познания", а тема христологии (Христософии) пронизывает все его лучшие произведения. (19).

Влияние Вл. Соловьева – крупнейший факт в жизни и творчестве Белого. Сам он видел в своем учителе путь спасения: "Спокойно почивай: огонь твоей лампадки мне сумрак озарит" ("Владимир Соловьев", 1902 г.). Эсхатология, во власти которой жил Белый в 1900-04 гг., вся пошла от "Трех разговоров" Соловьева и заполнила собою

душу молодого поэта, спасая его от ледяной пустыни; он ждал свершения великих мировых событий:

Какое грозное виденье / Смущало оробевший дух,
Когда стихийное волнение / Предощущал наш острый слух!
В грядущих судьбах прочитали / Смятенные близкого конца;
Из тьмы могильной вызывали / Мы дорогого мертвеца...

или:

Из дали безвременной глядя, / Вставал в метели снеговой
В огромной шапке меховой, / Пророча светопредставленье...

(Сергею Соловьеву, 1909 г.)

Так вспоминал впоследствии Белый своего духовного наставника, так чувствовал он в то время; а в его юношеских "Симфониях" — идейное развитие только что приведенных строчек. Много раз потом вспоминал Белый о том громадном влиянии, которое имел на него Соловьев: об этом он подробно говорит в целом ряде статей ("Апокалипсис в русской поэзии", "Владимир Соловьев" и др.), и в своих мемуарах, написанных после революции. Философ-мистик помог ему преодолеть пустыню декадентства и выйти в духовность символизма, а путь исхода был эсхатологический. Чтобы ознакомиться с этой борьбой и понять причудливое переплетение былого декадентства с побеждающей в душе Белого духовностью, следует обратиться к тщательному изучению его четырех "Симфоний" (20).

Влияние Соловьева на юного Блока было исключительно сильным, почти роковым: культ Вечной Женственности определил собою весь его поэтический путь. Все его лучшие драматические произведения ("Роза и крест", "Балаганчик", "Незнакомка"), сборник стихов "Снежная Маска" проникнуты всё той же мечтой о Прекрасной Даме, мечтой о недостижимом идеале. Влюбленность — тема и содержание его лирики. Иванов-Разумник даже считает Блока "Дон-Жуаном русской поэзии" (21). Трагедия его в том, что Вечная Женственность так и осталась для него вечной Незнакомкой.

Примечания:

1. А.Белый. Арабески. М., 1911, стр. 387 и 394.
2. К.Мочульский. Владимир Соловьев. Париж, 1951.
3. "Записки мечтателей", № 6, 1922, стр. 15. В "Воспоминаниях о Блоке" (переизд. "Брадда", 1964, стр. 24) Белый дает несколько иную версию: "А.Блок, по времени первый из русских, приподнял поэзию В.Соловьева и осознал всю огромность религиозного смысла ее. Он довел соловьевство до идеологии максимализма, почти до секты".
4. А.Блок. Собр. соч., т. 8, М.-Л., 1963, стр. 48-49.
5. Биографические сведения о Белом и Блоке из книг К.Мочульского "Андрей Белый" (Париж, 1955) и "Александр Блок" (Париж, 1948).
6. Вл. Пяст. О первом томе Блока. — Сб.: "Об Александре Блоке", Пг., 1921, стр.213.
7. А.Блок. Собр. соч., т. 7, стр. 53.
8. Там же, стр. 53-54.
9. Там же, т. 8, стр. 40-41.
10. К.Мочульский. А.Блок, стр. 72.
11. Стихотворения Блока цитирую из указ. Собр. соч., т. 1.
12. Вл. Соловьева цитирую по Собр. соч., изд. 2-ое. СПб., 1912.
13. О драме Блока-Белого-Любови Дмитриевны можно узнать из указ. выше книг Мочульского и из мемуаров Белого: "Между двух революций" и "Воспоминания об А.Блоке".
14. А.Белый. Арабески, стр.106-107, стр. 111.
15. Стихотворения Белого цитирую из кн.: Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1966.
16. А.Белый. Фридрих Ницше. — "Арабески", стр. 60-90 и неопубликованная статья (ГБЛ, 6 МУС, к. 1, ед. хр. 5), на которую ссылается М.Мирза-Авакян, "Ф.Ницше и русский модернизм" — "Вестник Ереванского университета", № 3, 1972, стр. 96.

17. Эллис. Русские символисты. Изд. Мусагет, 1910, стр. 234-35.
18. L. Feinberg, *The Satirist*, N.Y., The Citadel Press, 1965.
19. Этой теме я посвятила три исследования, которые были напечатаны в журнале "Русский язык" *Russian Language Journal*:
"О символике самосознания в поэме Белого "Христос Воскрес" – № 107, 1976; "Эротика и революция в "Петербурге" Белого" – № 110, 1977; "О мистерии тайновидения у Андрея Белого" – № 113, 1978. См. также: Е. Кулешова. Подполье в "Петербурге" Андрея Белого. – "Современник", № 39-40, 1978, стр. 109-120.
20. Самые глубокие и современные исследования "Симфоний":
S. Cioran, "The Call of Eternity", *The Apocalyptic Symbolism of Andrej Belyj*, Mouton, 1973; A. Kovacs, *Andrej Belyj: The Symphonies (1899-1908)*, Frankfurt/M.-Muenchen, 1976.
21. Иванов-Разумник. Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1919, стр. 19.

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

МАЯКОВСКИЙ И ЕВТУШЕНКО

1

За полстолетие, прошедшее со дня смерти Маяковского, о нем было сказано и написано столько, что, кажется, ничего нового к этому не прибавишь. Всё познала тень самоубиенного поэта: и "хрестоматийный глянec" восхвалений, доходящих до культа, и ожесточение проклятий на уровне даже отрицания бесспорного: могучего таланта и огромной силы индивидуальности Маяковского. Сталин назвал его "лучшим, талантливейшим поэтом нашей... эпохи" и Маяковского в СССР начали, по словам Пастернака, насаждать, "как картошку при Екатерине". Само собой, Сталин руководствовался политическими соображениями: недаром его пожелание увековечить Маяковского выражено в записке на имя... Ежова! Если верить апокрифическому рассказу, то "для баланса" Сталин позвонил Пастернаку и сказал, что вообще-то он его – Пастернака – считает лучшим поэтом, однако "для масс" нужнее Маяковский. Тут есть своя ирония судьбы: память о поэте обер-палач эпохи поручает хранить другому палачу, одновременно кокетничая своим индивидуальным вкусом в разговоре с поэтом-соперником Маяковского.

Все в жизни обрaстает традициями – нетрадиционное не составляет исключения. Маяковский долгое время был эталоном поэтического новаторства; ныне его творчество если и не безусловный пример для подражания, то, во всяком случае, оно из тех образцов, по которым учатся многие. Бесплезно спорить, произошло ли это в силу искусственного внедрения культа или нет. Случай Маяковского типично-нетипичен в том отношении, что советская пропагандистская машина, обычно ориентирующаяся на эталоны посредственности и политической целесообразности, популяризировала творчество действительно гениального поэта, причем, несмотря на его политическую "завербованность", – поэта *прежде всего*. Маяковский – это не Демьян Бедный или Кочетов; его авторитет был приумножен десятилетиями прославления, однако он не был создан из пустоты, в которую неизбежно уходят мнимые литературные величины, даже если они обладают средним талантом (как Демьян Бедный) и тем более, если не обладают талантом вообще (случай Кочетова). Советская власть, сгубившая многих блестящих поэтов, сделала ставку на реабилитацию себя, посмертно возвеличивая Маяковского как наиболее *советского по духу* поэта. Но ничто у коммунистов не обходится без лжи: чтобы интерпретировать творчество Маяковского в абсолютно просоветском духе, пришлось разработать целую систему натяжек, умолчаний и прямых фальсификаций, и до сего времени советским литературоведам трудно писать о таких вещах, как раздвоение личности Маяковского, противоречие между его бытием поэта и пропагандистского работника, разочарование в советской действительности и конечный крах его идейной веры в коммунизм. Как ни парадоксально, фальсификации судьбы Маяковского помогали и недалёковидные критики из эмигрантской среды. Классическим примером грубейшего поношения поэта, замешанного на полнейшем его непонимании, является книга Сергея Космана "Маяковский. Миф и действительность" (Париж, 1968). По степени нигилизма в восприятии того, что, как минимум, является значительным, книга Космана может соперничать разве что с печально знаменитой работой Синявского о Пушкине. Но Синявский хотя бы *талантливый* нигилист; Косман же – это "эмигрантский Кочетов", выкрикнувший что-то вроде "чего же ты хочешь?" в адрес Маяковского, коего он склонен "прихлопнуть" с любой стороны и любым способом: если надо, отзывами Ходасевича и

Бунина, а если этого недостаточно, то – Лениным или Демьяном Бедным. И самое печальное, что космановская интерпретация Маяковского не единичный пример. Эстетически она находит поддержку в том отставании поэтического вкуса эмигрантской литературной традиции, которое стимулировалось долгое время непомерным раздуванием какой-нибудь "парижской ноты", критическим самодержавием Адамовича и его поклонников, травлей Цветаевой, обломовским нежеланием изучать опыт советской поэзии, отвлекаясь от эпитета "советская" и сосредотачиваясь на том, что она все же – *Поэзия*. Неудивительно, что мимо сознания многих, даже талантливых литераторов Зарубежья, целая литературная эпоха прошла просто-напросто незамеченной, а поэтическое новаторство в диапазоне от Маяковского до Евтушенко осталось для них запечатанной тайной.

Маяковский пришел в литературу, говоря его же словами, "весомо, грубо, зримо". Он – поэт кричащих красок и образов; даже в лиризме своем он уходит от полутонов; самый шопот Маяковского – и тот "во весь голос". Такое может нравиться или не нравиться (старомодно-изнеженному вкусу, не перешагнувшему через каноны красоты в стиле XIX века такое наверняка *не понравится*), но с этим нельзя не считаться. Маяковский – один из тех немногих новаторов в литературе, которые расширили понятия эстетические переживания, увеличив объекты, ему сопричастные, и углубив само это переживание. Внешняя дисгармоничность, угловатость и грубость его поэзии породили новую гармонию, где красота достигается не нанизыванием стандартизированных "красивостей", а мощью поэтического дыхания и тона, где мужчина-поэт предстает по-мужски, а не по-пастушески, где слова означают то, что они означают, и в то же время обретают символику за счет мобилизации всех внутренних резервов своих – не за счет символистской "многозначности", взятой со стороны. В этом Маяковский был непревзойденный мастер. Ему нехватало общей культуры, но культуру русского поэтического слова он постиг до самых глубин. Комментаторы типа Космана или враги Маяковского типа Г.Шенгели видели в этом чуть ли не порок поэта. Наивные критики! – они подсчитывали примеры смысловых неточностей и прегрешений против эрудиции в стихах Маяковского. С таким же успехом можно говорить об анахронизмах в исторических драмах Шекспира, или о расхождении в Евангелием в "Мастере и Маргарите" Булгакова. Правда художественной образности в искусстве не обязательно совпадает с добросовестностью историка или настырностью эрудита, иначе пушкинский "Моцарт и Сальери" надо судить по законам о диффамации, картину Ильи Глазунова "Мистерия XX века" признать недопустимой подделкой, а, скажем, "Братскую ГЭС" Евтушенко объявить архитектурным парадоксом. Когда в "Поэтическом словаре" (М., 1966, стр. 11) А.Квятковский приводит в качестве примера "авторской глухоты" строки Маяковского: "Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий", то сей бесспорный случай не должен стать поводом для "критической глухоты" к смелости поэтического образа, тем более, приведенные тут же Квятковским аналогичные примеры из Пушкина, Лермонтова, Фета, Багрицкого, Уткина дают Маяковскому соседство самое блистательное. Но критики типа Космана способны написать диссертацию о пятнах на солнце, не замечая самого солнца. К счастью, не ими определяется слава поэта и течение поэтической традиции.

Исходный шаблон в восприятии Маяковского – это абсолютизация его "советскости". Между тем, Маяковский в качестве поэта – антисоветчик. И дело не только в том, что он сатирически обличал темные стороны советской жизни двадцатых годов – здесь как раз он еще оставался в кругу советского мировоззрения. Его антисоветизм проходил глубже: по той линии неприятия антипоэтической действительности, которая некогда заставляла содрогаться Гейне при мысли о возможности коммунистической нивелировки общества и которая – антиподным образом – заставляла Платона бояться поэтов в "идеальной Республике". Опять же хочется вспомнить по аналогии "Мастера и Маргариту" Булгакова: не сатирические зарисовки московского быта с аллюзиями на ГПУ и прочие "прелести", составляют основу противостояния между автором гениального романа и отвергаемой им схемой жизни. Противостояние это идет по линии Мастера и контрастирующей ему бездуховности, по той черте, которая отделяет Веру и безбожие,

творческий импульс и твердокаменное мешанство. Как на полотнах Петрова-Водкина двадцатых-тридцатых годов, где он начал изображать "советских тружеников", поражаешься подчеркнутой бездуховности "пролетарских" лиц, так и в эволюции Маяковского замечаешь, насколько не дается ему все-таки позитивный идеал героя, замешанного на советской идеологии, и, конечно, товарищ Победоносиков из "Бани" достовернее "Фосфорической женщины". Идеалы поточным методом не производятся.

"В Маяковском уже в ранней молодости была величавость", — заметил Корней Чуковский (К.Чуковский. Современники. М., 1968, стр. 490). Отдадим должное его наблюдательности: она компенсирует слепоту тех, кто не видел "величавости" поэта даже в его зрелом возрасте. Точно так же порой не замечают другую самоочевидность: конфликт Маяковского с советской действительностью.

"Антисоветский Маяковский" не есть тема для пряного парадокса, как это кажется иным. Человек, который постоянно "наступал на горло собственной песне", не мог не кончить самоубийством. Конечно, объяснения этому даются порой в смягченно-советской интерпретации. Так, например, — если верить воспоминаниям К.Зелинского — рассуждали о смерти Маяковского Осип Брик, да и сам Зелинский. "Какую... адскую машину носил в себе Маяковский? Прежде всего глубокую нервную усталость. Он редко оставался один, всегда был среди людей, много путешествовал. Такая жизнь изматывала его нервы. Во-вторых, в те дни он болел гриппом. Он порвал со всеми своими друзьями, писателями и поэтами. Он чувствовал себя очень одиноким, и, наконец, он подумал, что его поэтические и литературные способности иссякли. Взятая отдельно, каждая из причин не может являться поводом для самоубийства. Но все эти причины, взятые вместе, а к ним можно прибавить и другие, менее значительные (Подчеркнуто мною — А.Г.) могут привести к трагедии. Если бы он в течение еще трех дней выдержал одиночество, творческую неудовлетворенность, болезнь, — настроение переменилось бы". (Корнелий Зелинский. Легенды о Маяковском. М., 1966, стр. 37-38).

В этом пассаже ключевой, по-моему, является фраза о "других причинах" самоубийства Маяковского, нежели те, что перечислены в качестве главных. Хотя они и объявляются "незначительными", однако в них, пожалуй, главная суть. Длительный процесс разочарования Маяковского в советских идеалах, комбинируясь с личными проблемами (история любви к Татьяне Яковлевой, литературные конфликты и т.д.), привел его к решению "поставить точку пули". Конечно, во многом Маяковский конфликтовал с советской идеологией *по-советски*. Зелинский, со слов Осипа Брика, приводит любопытную деталь: в комнате Маяковского стояли два полных комплекта сочинений Плеханова и Ленина, которых поэт, по-видимому, "прорабатывал" в одиночестве. Вот вам и "диалектика", которую "учили не по Гегелю"!.. Одинокий, озлобленный Маяковский штудирует плехановско-ленинские тексты — да это почище есенинского запоя! Не от хорошей жизни поэт, который, прямо скажем, к основательному чтению не был приучен, засел за труды марксистских апостолов. Видимо, хотелось ему проверить, так сказать, "по первоисточникам", почему не ладится что-то в "датском королевстве", то-бишь в воспетой им "стране-подростке"? Проверка подобная к утешительным выводам привести не могла, и критический настрой Маяковского не мог не усилиться. Правда, настрой этот окрашивался в тона марксистских же рецептов. Однако чему тут удивляться? В наши дни, когда всё стало гораздо ясней, и то существуют братья Медведевы с их примитивной "марксистско-ленинской" оппозиционностью советскому режиму. А чего стоят заклинивания некоторых диссидентов-"эволюционистов" против всякой революционности, способной, мол, слугнуть эволюцию советского режима в сторону демократии? Казалось бы, давно можно было научиться более глубоким основаниям для оппозиции коммунизму, а нет, не получается. Так что политическая наивность Маяковского, явно враждебная рождавшемуся сталинизму, но зато тем настойчивей сочинявшая "облагороженную" версию *ленинизма*, оправдана его временем. Можно сказать, что Маяковский из советского ортодокса превращался в советского оппозиционера. Но это — по линии политического мышления. Что же касается собственно *поэтического бунтарства*, оно уведило его гораздо дальше по стезе противостояния советской обездушенности.

боталось всё труднее, личная жизнь, в которую всё сильнее вторгалась та же самая "политика", уже окрашенная сталинизмом. А душа поэта легко ранима — даже если и прикрыта панцирем внешне "железного" человека. Эту душу можно терзать лишь до известного предела...

Трагедия Маяковского в качестве жертвы советского строя не столь самоочевидна на первый взгляд, как трагедии расстрелянного Гумилева, повесившегося Есенина, сгинувшего в концлагере Мандельштама, вышедшего из лагеря, но измученного духом Заболоцкого, и многих других, загубленных коммунистами талантов. Однако и его судьба является жутким напоминанием о том, что бытие настоящего поэта и служение тоталитарному режиму — в конце концов, "две вещи несовместные".

2.

В личности и поэзии Евгения Евтушенко отразилось многое из явлений, характеризующих поэтическую судьбу Маяковского. В том, что Евтушенко — продолжатель его по различным параметрам творчества, сомневаться не приходится: в этом уверен и сам Евтушенко; это способны подтвердить даже поверхностные анализы евтушенковской поэзии.

Интерес Евтушенко к Маяковскому — спонтанен и постоянен. Еще будучи только начинавшим свою громкую карьеру поэтом, еще живя, так сказать, в "предевтушенковскую эпоху", он в 1954 году пишет стихотворение "Мать Маяковского", где дает образ — видимо, юношески близкий ему: не поэта-трибуна, а угловатого парня, которому материнская нежность требуется не менее, чем литературная слава. Этот образ с годами перерастал в более обобщенно-привычную фигуру — таковым он проявился, например, в поэме "Братская ГЭС", где Евтушенко дает ему чисто гражданственную интерпретацию, затрагивая сюжет, кровно понятный каждому, кто жил в СССР (и, увы, на редкость непостижимый для эмигрантских авторов): сюжет, связанный с логикой самоубийства Маяковского. "Могу, — писал Евтушенко — представить всё, но Маяковского в тридцать седьмом представить не могу". Эти слова рикошетом попадают в самого Евтушенко. Ему повезло: несмотря на все изгибы послесталинской эпохи, ничего, сопоставимого с ужасом тридцать седьмого года, не было, и писатели евтушенковского масштаба получили даже право на известную автономию от всепроникающей партийной цензуры. Поэтому когда кое-кто из эмигрантских авторов (вроде мелочно-сплетничающего в адрес Евтушенко Габриэля Амиамы — см. его статью "Эухению Евтушенко" в "НРС", 7 марта 1979 г.) цитирует заявления Евтушенко, что он независим "от Кремля или от Белого Дома" и говорит, что надо не знать советской действительности, чтобы поверить таким заявлениям, — сие справедливо в принципе. Однако лишь в принципе. Ибо следует знать и *об изменении* в советской действительности, когда человек, *такое являющийся*, может не бояться сесть в тюрьму. Конечно, не всякому позволено то, что возможно для Евтушенко, но это уже — другой вопрос...

В раскованности, внутренне присущей как Маяковскому, так и Евтушенко, есть нечто общее, идущее, однако, от разных причин. Маяковский, став советским поэтом, был не по-советски независимым, поскольку самые жуткие формы цензурного гнета еще не успели сложиться; Евтушенко начинал свою карьеру в период, когда эти формы, после смерти Сталина, ослабли. Будучи поэтами гражданского темперамента, оба они — поэты прежде всего, до "политики" и помимо "политики", и оба — конфликтующие писатели, своего рода "сердитые молодые люди". Но конфликт Маяковского с советской действительностью был разрывом "поэта и толпы" в период, когда "толпа" еще верит в лозунги, а "поэт" начинает в них разочаровываться. Евтушенко повторил ту же самую коллизию в то время, когда "неверующими" стали и "толпа", и "поэт". Однако если Маяковский шел по пути "сбрасывания" шелухи лозунгов, то Евтушенко — напротив — пытался "накачать" себя ими. Тут не обошлось без человеческого оппортунизма, конечно, но сводить всё дело к нему, как делают эмигрантские критики Евтушенко, было бы несправедливо: поэт должен во что-то *верить*, даже неверующий поэт. Маяковский когда-то защищал "строящийся социализм" — не идеальный, а реально буд-

то бы творимый в СССР, поскольку верил в него. Когда разуверился – застрелился. Евтушенко не может верить в псевдосоциалистическую реальность СССР, а запасом оптимизма, как Маяковский, не обладает – не та эпоха. Поэтому он сочиняет себе некий "идеальный ряд" социализма-коммунизма, которому готов "служить", вопреки реальности.

Вспомним, к примеру, образ Братской ГЭС в одноименной поэме. Недоброжелатели Евтушенко многократно кричали о "натянутости", "искусственности", "вымученности" противопоставления двух вершин (Братская ГЭС и египетская пирамида). И, конечно, натянутость тут есть, но не в том плане, который обычно видится критикам. Ведь образ Братской ГЭС не столько реален по-советски, сколько идеалистически задан. Это, так сказать, символ свободного коммунистического труда, который *должен бы быть* в воображении поэта (если б, к тому же, "коммунистический труд" мог быть *свободным*), короче, это – условный идеал. Напротив, египетская пирамида – не столько *египетская*, сколько задрапированная в древнеегипетский облик, весьма современная антисоветская аллюзия.

Евтушенко вообще – виртуоз политических аллюзий, мастер искусства обходить силки партийной цензуры, донося до подсоветского читателя нюансы, волнующие его до такой степени, какую представить себе не могут критики Евтушенко из "эмигрантского далёка", кричащие, что он "продался режиму", "изменил своей юности", "угодничает" и т.д. Для того, чтобы "смягчить" их "уютный гнев" из Парижа, Нью-Йорка и Тель-Авива, Евтушенко, как минимум, должен бы застрелиться (тогда – глядишь – даже меня, грешного, подхвалили бы за настоящую статью!). Ну, а Евтушенко не стрелится, даже из Союза советских писателей не выходит, и явно считает, что талант его *кое-что всё же оправдывает*. (Последняя мысль непереносима для бездарностей, которые никогда не признают за талантом право делать что-то "не так, как все"). Что ж, разве из-за этого стбит не замечать той борьбы за право свободного творчества, за демократизацию условий жизни в советском обществе, которую ведет *своим* способом, в *своих* условиях, Евтушенко? Помноженная на его поэтический дар, эта борьба куда полезней, нежели участие иных витий в диссидентских кампаниях, заканчивающееся нередко громогласным "покаянием" перед властями. Но для признания этого необходимо уважение к таланту, а последнее само по себе предполагает талант.

Хочется привести довольно случайный, но характерный всё же, пример двусмысленных аллюзий в стихах Евтушенко, рассчитанных на современного советского (причем, достаточно интеллигентного) читателя. В стихотворении "Земляки" (книга "Отцовский слух". М., 1975) поэт затронул рискованную тему Чаадаева:

"Сименона вы с чувством читаете,
уважаемый мною земляк,
а читали ли вы Чаадаева?
Всё же Пушкин читал как-никак." (Ук. соч., стр. 135)

Концовка этого стихотворения дается на тончайшей двусмысленности, отвлекающей цензоров в расчете на их малограмотность:

"...Ночь.
Метро.
Ощущенье землячества.
Чью-то книгу я локтем задел,
а в руках у студентки покачивается
Чаадаев из ЖЗЛ."

(Стр. 136)

Юмор подцензурной игры заключается в том, что в серии "Жизнь замечательных людей" (ЖЗЛ) вышла книга Лебедева "Чаадаев" – насквозь антисоветская по духу, и если не запрещенная полностью, то *осужденная* затем советской цензурой. Так что исправлять неполноценное "ощущение землячества" (слова Евтушенко) должна, по его мнению, весьма "крамольная" книга Лебедева. (Это уж не говоря о "сомнительности"

в советских условиях образа Чаадаева самого по себе!).

Возвращаясь к сопоставлению Евтушенко с Маяковским, следует подчеркнуть, что в оппозиционности к режиму Евтушенко, конечно, зашел гораздо дальше, чем его вдохновитель. И не только потому, что время стало помягче. Для Евтушенко возможность оппозиционности облегчается наличием у него именно тех позитивных ориентиров, которых не было у Маяковского. В первую очередь здесь следует сказать о том, что Евтушенко – верующий человек, а в его творчестве налицо – христиански-гуманитарные тенденции. (1). И для Евтушенко неприятие советской действительности во многих ее аспектах стимулируется апелляцией к вечным ценностям и к истинному гуманизму, который советско-партийными ортодоксами иронически титулуется "абстрактным".

Поскольку на эту тему в эмигрантской прессе, кажется, не пишут (а в СССР *определенно* не пишут), позволю себе воспользоваться "самоцитатой" из собственной статьи, напечатанной в 1976 году:

"Любопытно отметить... как резко возрастают христианские ассоциации в стихах поэта, вытесняя былые романтико-коммунистические образы. Даже в поэме "Под кожей статуи Свободы", с общей тенденцией которой никак нельзя согласиться и которая во многом испорчена аффектированной пропагандой, – даже в ней тема Христа и христианства явно доминирует над натянутым упоминанием Ленина. Этот "переход от Ленина к Христу" еще показательней, если рассмотреть *всю* поэзию Евтушенко в данном срезе, имея к тому же в виду, что для Евтушенко Ленин является спасительно-придуманным символом того "очищенного", абстрактного и "гуманизированного" коммунизма, коего в природе не существует, как не существовало в реальной истории "доброе и гуманное" Ленина. Поэтому Евтушенко, отворачиваясь от коммунистической *действительности*, сочинил для себя тот романтизированный идеал "коммунизма мечты", который логично ведет его к усвоению идеала Христа. Другое дело, приведет ли этот путь его к Христу окончательно? На этот вопрос ответит лишь время." (2).

Конечно, было бы нелепым проверять искренность Евтушенко в столь деликатной сфере, как религиозные взгляды, чисто богословскими критериями, да еще не делая скидки на специфику советских условий. Всё настолько перепутанно-сложно в советской жизни, что добро и зло очень редко выступают в ней как отчетливо видимые противоположности, и мозаика их смещений бывает чересчур пестрой. Поэтому и в своем христианстве Евтушенко отягощен повышенной противоречивостью различных напластований. Нередко он может сказать о себе то же, что сказал о Блоке:

"и там, где огонь гудит развихрясь,
где самым видится Антихрист,
он видит все-таки Христа" (3).

Простим же ему блуждания и заблуждения, ибо, в конце концов, зигзаги по дороге, ведущей к Вере, лучше твердой поступи в тумане безверия. С Христом в душе Евтушенко легче отстаивать творческую свободу, чем то мог сделать атеист-Маяковский. Может, потому Евтушенко и не будет ставить "точку пули в конце"...

В сущности, в сравнении с Маяковским, он дублирует по-настоящему только романтизированный культ Ленина. Маяковский создавал его в период зарождения сталинизма; Евтушенко – в период развенчания Сталина, а затем в борьбе с неосталинистскими тенденциями в послехрущевское время. Обоим поэтам нужен был этот кумир, сквозь призму которого можно было удобней пробиваться к читателю, замороженному еще этим именем – Ленин. (А то, что оно еще не потеряло своей притягательной силы для миллионов людей – факт неприятный, но бесспорный).

Маяковский – один из главных учителей Евтушенко. И все-таки он не играет для него исключительной роли. (4). Более того, по общей тональности Евтушенко – поэт иного настроения, другого эмоционально-интеллектуального лада, что ли. Даже романтизм их весьма различен. Маяковский – романтик-конструктивист; Евтушенко – романтик более традиционно-идеалистического плана. Маяковский бескомпромиссен в своем отталкивании от некоторых систем поэтического мышления. Евтушенко впитывает

вает в себя, словно губка, приметы различных стилей, следы разнообразных – часто взаимоисключающих друг друга – идей. По эрудиции Евтушенко гораздо культурней и уж, безусловно, *начитанней*; роль поэта в соотношении с обществом видится ему не только как "вождистская", но и в других, более тонких измерениях. Вообще, хотя ему очень импонирует масштабность и "громкость" поэтического голоса Маяковского (которые он не прочь имитировать), его голос звучит все же в иной тональности: он разнообразнее в модуляциях, а в сфере чистой лирики во многом противоположен Маяковскому.

В стихотворении "Эстрада" Евтушенко эффектно воскликнул:

"Какой я Северянин,
дураки!
Слабы, конечно, были мои кости,
но на лице моем сквозь желваки
прорезывался грозно Маяковский," (5).

Рискуя попасть в малочтенную категорию "дураков", хочу все-таки заметить, что "северянинщины" у Евтушенко хоть отбавляй, и ничего скверного в этом нет. Абсолютизация же в противопоставлении Северянина и Маяковского достаточно фальшива как в своей историко-литературной основе, так и в более глубоком – эстетическом срезе. Это нечто вроде снобистского штампа в противополжении "Красоты" и "красивости" – от него немало пострадала как литература, так и ее история. Что же касается "лика Маяковского", простиупающего сквозь поэтическое лицо Евтушенко, то это – одно из проявлений его талантливой *"многोलичности"*.

Трагизм в положении писателя внутри советского общества передается, как по эстафете, – от поколения к поколению. Духовная близость Евтушенко к Маяковскому – свидетельство такого трагизма. Снова, на очередном выраже истории, повторяется коллизия "поэта и толпы"; снова ломаются судьбы, надрываются голоса, скрещиваются поединки гения и пигмеев, свободного Духа и бездушной государственной бюрократии. Дай Бог, чтобы Евтушенко в человеческом плане не пополнил собой мартиролог русских и советских поэтов – убитых, либо доведенных до самоубийства. *И слава Богу*, что живя в одно время с Евтушенко и вспоминая о Маяковском, мы можем поставить в одном ряду трагического поединка Поэта со Злом, Личности с тоталитарным режимом, эти два имени, столь много и красочно говорящих – "векам, истории и миру зданью..."

П р и м е ч а н и я:

1. Габриэль Амиама в пасквильной статье о Евтушенко сообщает, что во время своего первого пребывания в Испании, "советский поэт вдруг заявил, ошеломив и верующих, и неверующих, что "с детства верит в Бога!". И как бы в подтверждение своих слов поэт раскрыл ворот своей рубашки, чтобы все увидели на его славянской груди маленький золотой крестик". ("НРС", 7 марта 1979 г.). Габриэль Амиама явно не верит в христианские чувства Евтушенко. Это его дело. Я – верю в них, и на моей стороне не только слова Евтушенко, но и его стихи. В случае поэта последнее – аргумент решающий.

2. А.Гидони. "Музыка истории" в поэзии Евтушенко. – "Современник", № 32, 1979 г., стр. 130-131.

3. Евг. Евтушенко. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М., 1975, стр. 196. К этим же строкам один из персонажей интересной статьи Владимира Соловьева, написанной в форме диалога, дает весьма негативный комментарий: "...беда не в том, что он Антихриста выдает за Христа, но в том – что не верит ни в того и ни в другого. Евтушенко – сколок эпохи: какова эпоха, таков и он. Разве что на полшага ее опережает..." (Владимир Соловьев. Кумир нации или Золова арфа. Опыт диалогической характеристики. – "Время и Мы", № 28, 1978 г., стр. 116). Оговорка насчет "полшага"

весьма примечательна; в такую дистанцию может быть впессована иной раз величина огромная...

4. О многоплановости и "разноприверженности" Евтушенко (если можно так выразиться) пишут и пишут. Совсем недавно Александр Кушнер неплохо заметил по этому поводу следующее:

"...Нет, кажется, такого талантливого поэта из старших современников и ровесников Евтушенко, с которым бы он не установил интонационный контакт: ему пришлось кстати... и Слуцкий, и Винокуров, и Межиров, и Соколов...

Всё это никак не отменяет его собственного стиля, размашистого, разговорного, не оставляющего ни малейшей недоговоренности и потому нередко срывающегося в зарифмованную прозу. Легко воспроизводящего в стихах уличный жаргон, его хочется сравнить с игроком в "очко", но таким игроком, у которого на руках всегда – перебор. Всегда – 23 или 25 – и с этим связаны его достижения и неудачи." – Александр Кушнер. Заметки на полях. – "Вопросы литературы", 1980, № 1, стр. 225.

5. Евг. Евтушенко. Избр. произ., Т. 2, стр. 8.



В. УФЛЯНД

Меняется страна Америка:
придут в ней скоро негры к власти.
Свободу, что стоит у берега,
под Негритянку перекрасят.

Начнут подсмеиваться бедные
над всякими миллионерами.
А всяческие будут белые
при встречах притворяться неграми.

И уважаться будут негры,
а самый черный будет славиться...
И каждый белый будет первый
при встрече с негром —
негру кланяться.

* * *

Михаилу Красильникову

В глухом заброшенном селе
меж туч увидели сиянье...
Никто не думал на Земле,
что прилетели —
марсиане.

Они спросили,
сев на поле:
"А далеко ли до Земли?.."
Крестьяне,
окружив толпою,
в милицию их повели.

Глухих
и несколько заросших,
в рубашках
радужной расцветки...
Ведь это, может быть, заброшены
агенты чьей-нибудь разведки.

Идут,
приглядываясь к лицам.
Не ждут ли встретить земляков? —
Нашли начальника милиции
(он был не слишком далеко!).

Допрос вели на трех наречьях:
мордовском,
русском
и на коми...
Не ведая, что опрометчиво
нарушили страны законы,
ломали марсиане головы,
и было всем одно понятно:
что прилетевшие —
веселые
и не опасные
ребята!

Эрнст-Иегуда МЕНДЕЛЬСОН

Р О Д И Н А

Родина! Сердце с тобою стучит,
радостью бьется и болью болит.
Родина! Как без тебя тяжело.
Тропки-дороги к тебе замело.

Ложью газетной тебя закрывают
да напускают завесой дурман.
Дети твои полной правды не знают:
антисемитский звучит барабан.

Каждый, кто рвется к тебе, — "сионист".
Автоматически враг он "народа"
и перед этой державой нечист —
здесь это самая новая мода.

Только проснулись твои сыновья
и не боятся тюремной решетки.
Правды раскаты запрягать нельзя,
их не заглушат ревушие глотки.

Тысячи словно в молитве сидят
перед приемником целой семьей.
Здесь для гонимых еврей каждый брат,
связанный кровною вечной судьбой.

МЫ ВМЕСТЕ БУДЕМ

Мы рады морю родных улыбок,
родному небу, родной земле.
Но замок счастья непрочно-зыбок,
все потому, что не с нами ВСЕ.

Как провожали мы пионеров!
Тоска светилась у всех в глазах.
Нас провожали, как мы — тех, первых.
Мы не забудем о тех слезах.
Скупых слезинках, родных и милых,
скупых слезинках, кому — запрет.
Великий Боже! О, дай им силы
идти к Отчизне сквозь муки лет!

Мы не забыли и не забудем.
Вы — наша радость и наша боль.
Вдали, в галуте, родные люди
обречены все на ту же роль.

Мы вместе будем — заветом тора
да муки тысяч кровавых лет.
Сквозь слезы счастья сверкнет вам скоро
ночного Лода желанный свет.

2 июня 1971 г.

Проф. ТАРАС ГУНЧАК

ПАНСЛАВИЗМ ИЛИ ПАНРУСИЗМ

(Окончание. Начало в № 45-46)

Главным представителем воинствующего русского панславизма и первым, кто выразил его суть, был Михаил Погодин. Он происходил из крестьян, но вырос в хорошо известного историка и журналиста, достигнув значительного влияния и положения. Идеи, которые он так ясно и сильно сформулировал, как бы предвосхитили коллизии времен "Великого Раскола" в русской истории, эпохи Крымской войны. Погодин обратился с "Письмом о русской истории" к будущему монарху Александру Второму. В нем он сполна излил свои националистические и панславистские чувства. Ослепленный размером и силой российской империи, государством, управляемым лишь одним автократом — царем, Погодин в соответствующем духе пророчил исполнение русской миссии: создание всемирной монархии. "Россия — вот удивительный феномен на мировой сцене... какая страна может сравниться с ней в размере?.. Население в 60 млн. человек, не считая тех, кто еще и не сочтан... Добавим к этой массе 30 млн. наших братьев и сестер, славян... в чьих венах струится та же кровь, кто говорит на том же языке... Славян, которые, несмотря на географическое и политическое разделение, происхождением и языком образуют с нами единую духовную сущность... Моя мысль смолкает, я ослеплен этим видением..." (М.Погодин. Историко-политические письма и записки в продолжении Крымской войны. М., 1874, стр. 10-11).

"Кто осмелится оспаривать ее (России — перев.) первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?" (М.П.Погодин. Взгляд на русскую историю. Вступительная лекция 1832 г. — Прим. переводчика).

Погодинская концепция панславизма требовала безоговорочного подчинения славян России. Тех из них, которые объединились под флагом российского царя, приняли русский язык, закон и православную веру, русские встретили бы как братьев. Однако того, кто не наш, "того мы заставим быть нашим, или предоставим на съедение немцу, венгерцу и, даже, турку". (Ф.К.Неслуховский. Из воспоминаний. — "Исторический Вестник", XI (апр. 1890), стр. 143).

Вера в провиденциальный характер русской миссии разделялась и другими русскими панславистами. Среди них мы находим Юрия Самарина, Степана Шевырева, Владимира Ламанского, Ивана Аксакова, Александра Гильфердинга, Николая Данилевского и Федора Достоевского.

Известный славянофил Самарин был государственным деятелем и правительственным чиновником. В письме 1842 г. к одному из друзей, обосновывая необходимость русского централизма, он соответственно отвергает целесообразность поиска "единого славянского духа" путем создания союза славянских племен. Целью славянского движения, по Самарину, было "вынести Россию и в ней явить средоточие и всю полноту Славянского духа без всякой односторонности... Только в России Славянский дух дошел до самосознания, условленного самоотрицанием... я не думаю, что что-либо новое, чего бы в ней не было, Россия могла получить от них (от славянских племен — перев.). Напротив того, для них освобождение от их племенных односторонностей и осуществление в себе общеславянского начала возможно только под одним условием — сознать себя в России."

Степан Шевырев, близкий друг Погодина, открыто и явственно сформулировал цель русских по отношению к другим славянам. Он просто заявил: "... надобно, чтоб все лучше были русские, нежели нам, русским, искать какого-нибудь другого начала."

Подобные взгляды совпадали с позицией императорского правительства. Поэтому оно покровительствовало новоявленному русскому национализму, несмотря даже на свой традиционный страх перед любым общественным движением. Ранние представители русского панславизма отличались в области славянских проблем от правительства лишь тем, что стремились актуализировать, не взирая ни на что, свои концепции. В то же время правительство, одобряя в принципе теорию русских панславистов, тормозило их практические действия, ибо не желало рисковать доверием и своими соглашениями с Европой. Из-за этого оно и заставляло русских националистов концентрироваться преимущественно вокруг внутрисоссийских дел, не давая им вмешиваться в события международной жизни.

Наиболее отчетливо выразил позицию правительства в национальном вопросе гр. С. Уваров в своем циркуляре от 1847 года: "Всё, что мы имеем в России, принадлежит только нам, без участия других славянских народов, которые протягивают ныне к нам свои руки и умоляют о помощи, не столько из одушевления братской любовью, сколько из мелочных расчетов и не всегда бескорыстного эгоизма..."

Не имя ли русского наиболее славно для нас, то наше знаменитое имя, которое, начиная с основания нашего государства, воспроизводилось и воспроизводится общественной жизнью миллионов? Позвольте же имени русского быть услышанным в университетах, как слышится оно среди русского народа, который, без всякой изящной философии, без воображаемого "славянства", сохранил веру наших отцов, язык, обычаи, привычки, целостную народность..."

Этот нарциссический национализм был также характерен для такого по видимости ярого "всеславянина", каким казался Ив. Аксаков. В 1849 году он открыто выразил свое недоверие к панславизму: "В панславизм мы не верим". Слишком много различий и конфликтов между славянами бросалось в глаза. Один из возможных выходов Аксаков видел в растворении славян, в слиянии их с Россией. — Признаюсь, — заключал он, — "меня гораздо более всех славян занимает Русь..."

Крымская война лишь усилила славянофильское убеждение в фундаментальной антигетичности Запада и России. Ведущий идеолог раннего славянофильства, выдающийся светский богослов Алексей Степанович Хомяков осмыслил этот антагонизм в терминах "священной войны", которая, будучи направляема Божественным Провидением, должна привести в итоге к новой мировой эре. Это должна быть эра триумфа "русских или скорее славянских" и православных начал, которые впредь должны были озарять человечество.

В отличие от свободного философа Хомякова, официальный историк Михаил Погодин был ориентирован преимущественно в политическом направлении. Он рассчитывал не столько на Божью волю, сколько на посясторонние силы. Глубоко сознавая изоляцию России на международной арене, он надеялся все же на поддержку со стороны ее "естественных союзников" — 80 млн. славян вне Российской империи. В чисто военном отношении он тоже не был мечтателем, уповая на захват Константинополя, чтобы сделать его столицей славянской федерации под эгидой русских.

Фантастические ожидания и далеко идущие цели российской балканской политики были расстроены на полях Крымской кампании. Россия проиграла ее, как говорится, в своем собственном доме, что опрокинуло (по крайней мере, на время) ее гегемонистские амбиции в Черном море и ее стремление установить контроль над проливами. Поражение заставило русских в правительстве и вне его переоценить внутривнутриполитическую ситуацию, так же как и отношение к соседним странам. Россия оказалась перед необходимостью отказа от устарелого понимания норм международного права, от "божественного права монархов", за которое Николай I так упрямо держался.

В годы после Крымской войны русские панслависты продолжали поиск с целью "определить истоки славянского единства, снабдить славянское движение идеологи-

ческим руководством", — указывает один из исследователей панславизма. Однако из-за недавнего травматического опыта и унижительного для России поражения панслависты вынуждены были теперь защищать на словах примат культурного объединения над политическим, хотя, конечно, этот культурный акцент был лишь камуфляжем.

Возможно, наиболее просвещенным и плодовитым популяризатором русского панславизма был Иван Аксаков. Он как бы олицетворял эту эволюцию русской идеи от "благочестивого пиетета" ранних московских славянофилов до боевого активизма новых панславистов. С уходом многих прежних светил Аксаков стал естественным наследником и основным глашатаем славянофильства. Активное участие Аксакова в решении славянских проблем началось с 1858 года, когда он стал редактором "Русской беседы". Хотя по своему характеру статьи, им помещаемые, были преимущественно историческими, Аксаков надеялся, что они приобретут и политическое звучание, послужат пробуждению чувства славянской солидарности.

Влиянием и престижем Аксаков во многом обязан был своей деятельности в Московском Славянском Благотворительном Комитете, сперва в качестве секретаря-казначей, а затем президента. Работа этой организации была поддержана обильными субсидиями из фондов Азиатского департамента Министерства Иностранных Дел, Министерства Просвещения, Св. Синода Русской Православной Церкви, а также средствами императорской семьи. Одной из главных функций Комитета было обеспечение помощи православным церквям и школам за границей в форме субсидий, книг, оборудования и студенческих стипендий.

В общем и целом, работа подкомитетов организации соответствовала основной, филантропической цели, наряду с широким распространением русского языка и литературы среди других славян. Однако, как и программы иностранной помощи в наше время, деятельность Комитета не ограничивалась лишь альтруистическими задачами. Уже один факт чрезвычайно активного участия властей, особенно Азиатского департамента Министерства Иностранных Дел (он имел отношение также к Балканам) в различных аспектах деятельности Комитета есть хороший показатель политических намерений правительства. Прозрачный намек, что русская филантропия, кроме ее чисто гуманитарной стороны, рассматривалась также как долгосрочное (политическое) инвестирование, был сделан шефом Азиатского департамента МИД Егором Ковалевским в письме к первому президенту Московского Славянского Благотворительного Комитета А.Н.Бахметьеву. В письме говорилось, что деятельность Комитета "несомненно принесет будущий урожай". Этим "урожаем", по определению Н.М.Дружинина, явилось усиление русского влияния на Балканах, а затем и среди славян вообще.

Видное место в арсенале русских панславистов, в их попытках культурного сближения с другими славянами, принадлежало русскому языку. Под влиянием раннеромантических воззрений на роль языка в процессе национальной консолидации и международного взаимопонимания русские и различные нерусские панслависты стали настаивать на выборе и принятии какого-либо одного из славянских языков в качестве всеславянского и общелитературного. Политические амбиции русских панславистов были явлены ярче всего именно в настойчивом программном требовании для русского языка быть "сосудом" славянской солидарности. В этом требовании русские панслависты взывали к различным аргументам; некоторые из них были весьма сомнительны. Они ссылались на историю и традицию, размеры и силу государства, пользу и необходимость, даже на "благородство" русского языка, чтобы убедить других славян в том, что спасение и прогресс — исключительно лишь в его принятии.

Погодин открыто увязал требования лингвистического единообразия с политической программой панславизма. Он требовал от славян принять русский язык как свой на том основании, что, якобы, сам "Бог определил его чудесную судьбу тем, что вложил его в уста того народа, который сосредоточил первенство над всеми народами славянского, а возможно, и европейского мира!" (См.: М.П.Погодин. Отрывки из писем о положении славян в Европе. — "Русская беседа", 1859, 1, стр. 63-64).

Аналогичным образом профессор славянской филологии Санкт-Петербургского

университета Владимир Ламанский призвал славян отказаться от их языковой автономии, признать гегемонию одного славянского языка — русского. В призыве этом несомненно содержалась тайная надежда, что русский язык, в случае его принятия, сыграл бы решающую роль в распространении русской культуры и, соответственно, русского влияния. (В.И.Ламанский. Национальность итальянская и славянская в политическом и литературном отношениях. СПб., 1865, стр. 17).

Профессор русского и церковно-славянского языков Варшавского университета Антон Будилович, говоря в 1877 году о языковой унификации славян, настаивал на том, что общеславянский язык не умер, но лишь изменился под влиянием различных условий. Среди славянских литературных языков, "лишь один русский развился на почве старом или церковно-славянского языка, наследовал все его предания, а с тем вместе и все его права..! Один Русский народ, — продолжал он, — "остался верным хранителем преданий Славянского прошлого не только в области церковной, но и в литературной, и тем стяжал своему литературному языку историческое право на звание "все-Славянского". (Антон Будилович. Об изучении славянского мира. — "Славянский сборник", СПб., 1877).

Будилович был менее всего озабочен на деле установлением подлинных славянских лингвистических связей. Его цель — русская политическая гегемония, в которой русскому языку отведена лишь роль повивальной бабки, ускоряющей реализацию конечных задач. "Таким образом идея русского языка как языка всеславянского, — замечает проф. Дружинин, — стала выражением русской гегемонии в славянском движении."

Особо явной становилась эта политическая цель в контексте отношения русских панславистов к главным славянским группам внутри Российской империи — украинцам и белорусам. Это отношение было негативным. Русские в своем государстве логически не могли допустить равноправия других славянских языков с русским, ибо это способствовало бы политическим стремлениям нерусских групп.

Официальная политика руссификации западных областей империи, населенных балтийскими народами, белорусами, украинцами и крупным контингентом еврейского населения, полностью соответствовала целям русских панславистов. Поддерживая усиление русского влияния в различных частях многонациональной Российской империи, они соответственно противодействовали любым формам пробуждающегося национального сознания. Так, к примеру, Ив. Аксаков осудил украинофильство — культурную форму украинского национализма девятнадцатого века, заклеив его как добровольную и сознательную измену общероссийскому делу. Он полагал, что именно русский язык, культура и могущественное государство способствовали развитию на Украине стремлений к независимости. Украинский национализм как таковой, следовательно, казался Аксакову каким-то абсурдом, угрожавшим к тому же, подобно и национализму других меньшинств, целостности Российской империи и его (Аксакова) мечтам о тысячелетнем славянском Граде.

Возможно, наиболее типичным показателем далеко идущих замыслов русских панславистов было их отношение к польскому вопросу. Должна ли Польша быть независимой или она должна управляться Россией? Это был тот самый, по определению Страхова, "роковой вопрос", который прояснил другим славянам глубокую разницу между высокопарными декларациями братской любви и славянской солидарности и банальной реальностью русского панславизма. Александр Гильфердинг, пылкий панславист и апологет российской политики в Польше, столкнулся в июле 1863 года сущест­венной проблемой: "Польша ставит Россию в постоянное внутреннее противоречие с самой собой и тем отнимает у нее свободу действия... Мы порываемся верить, что прямое, священное призвание России есть покровительство Славянским народам, заступничество за них перед Европой, содействие их освобождению. И опять мы должны оглянуться на Польшу, или если бы мы хотели забыть про нее, нам укажут на нее наши недруги и напомнят с укоризною: "врачу, исцелился сам" — ... Везде, на всех путях, Польша заставляет Россию противоречить самой себе, своему призванию, своим политическим стрем-

лениям и нуждам." (А. Гильфердинг. Собр. соч. СПб., 1868, т. 2, стр. 313-314).

Однако и эти жалобы, вызванные травматическим для русских панславистов польским опытом, не помешали Гильфердингу придти к выводу, что Россия все же не должна отказываться от Польши. Россия должна "держать" Польшу не просто из-за народного или государственного самодобия, но чтобы отвести угрозу и сохранить западные российские губернии от притязаний хотя бы той же Польши.

Иван Аксаков признал в конечном итоге право поляков "стремиться к объединению в одной Польше". В то же время он настаивал на разрешении польского вопроса путем руссификации и экспроприации польских землевладений вне этнических пределов Польши. Аксаков считал, что русская политическая цель в Польше может быть достигнута лишь заменой польских чиновников русскими, а католичества — православием. Также и образование должно было обслуживать эту цель.

Юрий Самарин придавал польскому вопросу ореол борьбы между двумя мирами — польским католическим и русским православным. Будучи одним из главных последователей московского славянофильства, Самарин олицетворил верность его догмам, которые он и пытался применить к польской проблеме. Так, например, он признавал право Польши на беспрепятственное культурное развитие, но не признавал ее право на независимое политическое существование. По Самарину, тот факт, что народ обладает всеми атрибутами нации, не дает еще ему право на политическую независимость. (Б.Е. Нольде. Юрий Самарин и его время. Париж, 1926, стр. 152).

Широко известный своими панславистскими настроениями генерал Ростислав Фадеев был очень обеспокоен состоянием и развитием русско-польских отношений. Он доказывал следующий тезис: "... увековечивание нынешнего положения вещей в Польше, возведенное в принцип, перепугает все славянство, разрушит в корне всякое доверие к нам. Славяне, до сих пор боящиеся призрака ненасытного русского честолюбия, примут наш братский зов за уловку. Бунт поляков, возможный против России, невозможен против союза, добровольно признающего русское главенство, союза, охватывающего их землю со всех сторон."

К этим чисто стратегическим соображениям Фадеев присоединял еще некоторые моральные. Он полагал, что если бы российский самодержец встал во главе общеславянской федерации, это удержало бы поляков от восстаний. Ибо в этом случае мятеж против главы славянской семьи был бы истолкован как измена. Логическим следствием аргументации Фадеева было признание, что если бы в один прекрасный день поляки увидели себя "не на окраине, а посередине земель, сочувственно принимающих главенство России в общем союзе", они не имели бы иной альтернативы, кроме подчинения.

Для Фадеева, как и для других русских панславистов, решение польского вопроса было неразрывно связано с будущим западных российских областей. Панслависты пытались скрыть волюющее противоречие между тем, что обещали славянам вне Российской империи, и тем, что требовали для славян внутри ее.

Во время Московского Славянского Конгресса 1867 года выяснилось, что русские панслависты имели крайне незначительный шанс приобрести среди славян новых прозелитов. Несмотря на титанические усилия организаторов и правительственную поддержку, Московский Конгресс этого года не был таким представительным, как в Праге в 1848 году и не принес ожидаемых результатов. Кроме многочисленных тостов, высокопарных банальностей и деклараций Конгресс 1867 года не дал, по существу, ничего. Дух зримо отсутствовавших поляков витал над собравшимися, и не только из-за недавнего польского восстания, но и из-за свежих новостей из Парижа. Там польский беженец-эмигрант пытался совершить покушение на царя Александра Второго во время его визита во Францию. В подобной атмосфере оказались невозможными любые полезные дискуссии о славянской солидарности.

Хозяева не преуспели и в вопросе о лингвистическом и культурном объединении, который они пытались поставить и обсудить. Красноречивые призывы профессора Ла-

манского, профессора Краковского университета Н.А.Лавровского, министра народного просвещения гр. Д.А.Толстого, ректора Московского университета С.И.Барскина и других к общему языку, культуре и религии не имели ни малейшего успеха. Славянские делегаты отклонили централистские тенденции русских в пользу собственных традиций и собственного наследия. Франтишек Ридер — глава чешской делегации, оказавшись на Конгрессе самым откровенным защитником идеи, что славянская солидарность должна заключаться не в отрицании национальных индивидуальностей, развитых в ходе тысячелетней истории славян, но во взаимной братской помощи. Альтернативой руссификации, с точки зрения чешского делегата, было "разнообразие в гармонии".

Ригер затронул именно то, что было одним из основных источников разногласий в панславистском движении. Его позиция представляла полную противоположность идеям, например, великого русского поэта, дипломата и апологета панславизма Федора Тютчева. Последний писал Самарину 15 мая 1867 года: "Всё зависит от того, как славяне понимают и чувствуют свои отношения к России... если они видят в России лишь силу — дружескую, союзную, вспомогательную, но, так сказать, внешнюю, то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренне поймут, что составляют о д н о с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между собой все составные части единого целого, действительно живого." (К.Пигарев. Ф.И.Тютчев и проблемы внешней политики царской России. — "Литературное Наследство". М., 1935, стр. 236.)

Этот "органический централизм" не был лишь продуктом поэтической фантазии Тютчева. Он полностью соответствовал политическим целям русских панславистов. Хотя последние и не подготовили формальной политической платформы для обсуждения на Московском Славянском Конгрессе, их политические взгляды прокламировались окольным путем. На Конгрессе усиленно распространялась переводная книга Людовита Стура "Славянство и мир будущего". Книга эта идеально подходила для целей русских панславистов. Написанная нерусским, она, тем не менее, призвала славян к объединению под эгидой именно русских, к принятию православия и русского языка.

Московскому Славянскому Конгрессу предшествовала значительная подготовка. Когда он собрался, русские панслависты сделали попытку захватить лидерство в славянском движении. Их усилия, однако, оказались бесплодными.

После Крымской войны русский панславизм нашел вдохновенную поддержку в лице таких плодовитых публицистов, как Иван Аксаков и Михаил Катков, в творческом гении Федора Достоевского, в сочинениях Николая Данилевского. Последний приобрел многих идеологических последователей в кругах русских политических деятелей. Аксаков, представлявший связующее звено между двумя фазами русского национализма, совместно с Достоевским продолжил свойственную славянофильству традицию прозелитизма. В особенности Достоевский старался восстановить славянофильскую тенденцию русского мессианизма. Как и ранние славянофилы, он прославлял в России все те же православие и народ.

Разнородные элементы срастались у Достоевского в радикально-националистическом видении России и русского "народа-богоносца", взросшего на русской земле. "Интегральный" национализм этот сформулирован в неопубликованном при жизни писателя диалоге Шатова со Ставрогиным (роман "Бесы"), где Шатов заявляет, что человек для него есть только русский человек, Бог есть только русский Бог, традиция есть только русская традиция.

Достоевский проповедовал воинствующую исключительность, выдавая различные аномальные явления за естественный и здоровый порядок вещей. Ему казалось, что национальная индивидуальность нерусских народов укоренена в фальшивых богах. Россия, по Достоевскому, является единственной в мире хранительницей истины, ибо только русский народ поклоняется истинному Богу. Русская миссия, таким образом, состояла в том, чтобы объединить, "обновить и спасти мир именем нового (русского) Бога..."

Идеи панславизма занимали видное место в представлениях Достоевского о будущем России. Краеугольный камень этого будущего, согласно Достоевскому, был заложен в 1472 году Иваном Третьим, женившимся на наследнице Константинополя Софье Палеолог. Этим актом, — писал Достоевский, — "полагается первый камень о будущем главенстве на Востоке... мысль не только великого государства, но и целого нового мира, которому суждено обновить Христианство всеславянской православной идеей.." Всё это не значило, однако, что панславизм Достоевского осмыслялся им в терминах славянской солидарности на основе взаимности и равенства. Напротив, когда даже такой ярый панславист, как Данилевский, предложил разделить Константинополь поровну между славянами, Достоевский воспротивился этому проекту. По его мнению, не следовало равнять русских с остальными славянами. Русские превосходили их не только по отдельности, но и всех вместе взятых. Панславизм Достоевского, следовательно, не был самодовлеющим, скорее он был для него некоей промежуточной стадией, которая позволяла ускорить пришествие русского миллениума.

Несмотря на некоторые различия, панславистские идеи Достоевского и Данилевского были очень близки. Недаром Достоевский, прочтя "Россию и Европу" Данилевского (1869 г.), был поражен сходством их взглядов. "Статья Данилевского, — писал он своему другу и издателю журнала "Заря" Николаю Страхову, — до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь на иных страницах сходству выводов..."

И такое совпадение не было случайным. Оно основывалось на общей славянофильской концепции русского православия, своеобразия русского народа и его исторических учреждений, несовместимости России и западного мира. Эта манихейская "историсофия" неизбежно вела Достоевского и Данилевского к националистическому мессианизму, с точки зрения которого Россия выступала как новый Израиль, а русские — как избранный народ. "Со стороны объективной, фактической, — писал Данилевский, — русскому и большинству прочих славянских народов достался исторический жребий быть вместе с Греками главными хранителями живого предания религиозной истины — православия, и таким образом, быть продолжателями великого дела, выпавшего на долю Израиля и Византии — быть народами богоизбранными."

Чтобы придать своему пониманию русского мессианизма научную респектабельность, Данилевский использовал натуралистическую концепцию исторического развития. Однако в своих построениях он недооценил момента единства и непрерывности исторического процесса, делая вместо этого слишком сильный акцент на его цикличности. В соответствии с этой точкой зрения, история проходит через ряд особых независимых циклов, через последовательный ряд культурно-исторических типов, каждый из которых характеризует ту или иную историческую эпоху. Одним из таких типов была Европа, германо-романская цивилизация, на смену которой грядет славянский культурно-исторический тип. В этой фазе исторического процесса славянство, которое Данилевский идентифицировал с Россией, должно представить "синтезис всех сторон культурной деятельности, в обширном значении этого слова, — сторон, которые разрабатывались его предшественниками на историческом поприще в отдельности, или в весьма неполном соединении". Чтобы осуществить свое историческое предназначение, которое должно привести к общечеловеческой цивилизации, Россия нуждается в поддержке всех славян. По этому Данилевский защищал панславизм и отстаивал идею славянского союза, который казался ему необходимым предусловием всеславянской цивилизации. (См.: Н.Я.Данилевский. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1895, т. 2.)

Чем теснее увязывал Данилевский образование всеславянского союза с благоприятным решением восточного вопроса, тем больше он отходил от славянофильской метафизики и приближался к популярной в те времена бисмарковской доктрине "реальной политики". Он уже не отрицал войну как средство решения спорных проблем, как то имело место у прежних славянофилов. Наоборот, подобно генералу Ростиславу Фадееву, Константину Леонтьеву и графу Николаю Игнатьеву, Данилевский считал, что

проблема славянского союза, как и восточный вопрос, могут быть решены лишь военной конфронтацией России и Европы. Этот конфликт, по его мнению, не только принес бы победу России и славянам, но и произвел бы благоприятный психологический эффект. В ходе борьбы с Западом славяне достигли бы объединения и избавились от своего рабоподчинения перед идеями, культурой и учреждениями Запада.

Общеславянский союз, который старался предвосхитить Данилевский, геополитически и морально объединил бы народы на территории от Тихого океана до Адриатического моря, от Северного Ледовитого океана до Эгейского моря. По этим же геополитическим соображениям должны быть охвачены проектируемым союзом даже такие неславянские народы, как румыны, мадьяры и греки. История поместила их (территориально) среди славян. Поэтому, согласно Данилевскому, все они так или иначе неразрывно связаны со славянским миром.

В этом грандиозном замысле России была отведена наиболее выдающаяся роль. Из-за размеров, военной силы, богатства и политического влияния, она являлась естественным славянским лидером. Под предлогом защиты славян от враждебного Запада и выражая преобладающее мнение русской общественности, Данилевский потребовал самого тесного федеративного союза славян под российской политической эгидой. В предполагаемой федерации, однако, Россия не должна была вмешиваться во внутреннее дело государств-членов, но помогала бы дружественно и справедливо решать все их проблемы. Данилевский считал учреждение подобной федерации под российским руководством, со столицей в Константинополе, самым верным решением восточного вопроса.

С чисто практической стороны Россия получила бы здесь ряд важных преимуществ. Контроль над Константинополем и проливами дал бы южнорусским границам безопасность от флотов могущественных держав. Данилевский полагал также, что российский контроль Константинополя означал бы громадную моральную победу России. Из этого общепризнанного центра православия Россия получила бы возможность распространить свое влияние и преуспела бы в достижении своей исторической миссии. Это было бы поистине началом новой, панславянской эры мировой истории.

Ясные политические цели Данилевского, очищенные от выспренного многословия, нашли достойного защитника и исполнителя в лице графа Игнатъева. Будучи с 1861 по 1864 годы директором Азиатского департамента МИД, а затем послом России в Константинополе, граф Игнатъев мог представлять панславизм на самом высоком правительственном уровне. Быстро прогрессируя как дипломат, он много также поработал в отношении реализации намерений и планов по крайней мере двух поколений русских панславистов.

Основными задачами иностранной политики России, как они представлялись Игнатъеву, были ревизия невыгодного Парижского договора 1856 года, получение контроля над Константинополем с проливами, а также достижение славянской солидарности под эгидой Российской империи. "Славяне австрийские и турецкие, — говорил Игнатъев, — должны быть нашими союзниками и орудием нашей политики в противоположность германству." Не было ни грана альтруизма в игнатъевском панславизме. Сосредотачиваться исключительно на освобождении славян он считал не только неразумным, но прямо преступным. С точки зрения Игнатъева, такая политика явила бы собой пример очевидной подмены целей средствами.

Игнатъев оставался верен своим идеалам, несмотря даже на оппозицию его шефа князя Александра Горчакова. "Все мои действия с 1861 года по 1877 год в Турции и между славянами, — писал Игнатъев, — были вдохновляемы означенными выше мыслями и клонились к тому, чтобы Россия одна могла хозяйничать на Балканском полуострове и в Черном море... чтобы восточные народности, в особенности же славянские, обращали свои взоры исключительно на Россию, ставя свою будущность в зависимости от нее..."

Балканские события 1876-78 гг. давали, как будто бы, пищу надеждам Игнатъева. Болгары, подвергнутые тяжелым репрессиям после их безуспешного антитурецкого

мятежа; сербы, терпевшие от турок все новые и новые поражения, — и те, и другие смотрели на русских, ожидая от них помощи. И они не были разочарованы. В противовес равнодушному отношению официальной России, особенно царя и Горчакова, стремившегося к мирному разрешению балканского кризиса, другие высокопоставленные чины двора, православные иерархи и деятели всеславянских комитетов рьяно содействовали славянскому делу. Они организовывали сбор денежных средств прямо на улицах, в церквях или в публичных собраниях. Большую активность проявлял Московский Благотворительный Комитет, который не только участвовал в создании денежных фондов, но и вербовал для сербской армии русских добровольцев, особенно офицеров. В атмосфере общей экзальтации около пяти тысяч человек вступили в добровольческую армию, чтобы бороться с турками.

Прославянское движение в России достигло кульминации летом 1876 года. Хотя оно так и не стало массовым, ему удалось привлечь значительную часть интеллигенции, особенно в главных городах.

Среди излияний симпатии к своим южным братьям, многочисленных меморандумов правительству с целью подстегнуть его к действию, большое место занимали выражения озабоченности интересами России, которые связывались с выгодным для нее разрешением восточного вопроса. Наиболее показательным в этом отношении был меморандум генерала Фадеева (июнь 1876 г.), в котором автор требовал решения восточной проблемы путем одностороннего захвата Россией проливов и установления контроля над Балканами. Три месяца спустя Фадеев подкрепил это свое требование, призывая акцентировать внимание не на Сербии, а на Болгарии, дабы дать возможность России уладить восточный вопрос в ее собственных интересах.

В тех же терминах примата российских интересов рассуждал Иван Аксаков. В послании к Михаилу Черняеву он увещевал амбициозного генерала не вступать в сербо-болгарские дела, не покровительствовать сербам против болгар. "Вы — русский, а мы, русские, должны встать выше болгар и сербов и иметь более широкие взгляды. Для России болгары и их независимость не менее дороги, чем сербы и их независимость... Интересы России стоят выше всего, ибо то, что благотворно для России, благотворно также для серба, болгары и всех других в славянстве."

Озабоченность Аксакова, что Черняев может поддержать сербов в ущерб России, была необоснованной. Миссия Черняева в Сербии была иная. Она мотивировалась выгодой России и сводилась к тому, чтобы попытаться возглавить крестовый поход славян на Турцию. В замечании по поводу политических возможностей (в случае успеха) государственного переворота генерал Черняев утверждал: "Влияние России на Сербию было бы реальным и опиралось бы на крепкие основания: глава государства и весь народ сочувствовали бы России. Министры постепенно могли бы назанчаться из русских. Враждебные партии исчезли бы, и одно из славянских государств стало бы де-факто российской провинцией."

Эти цели ответственных русских деятелей не скрылись от внимания вдумчивых наблюдателей. Однако политические лидеры южных славян избегали публичных высказываний из-за опасения конфликта с теми, от чьей помощи они зависели. Иными словами, обе стороны откровенно эгоистично старались использовать друг друга, камуфлируясь при этом маской славянской солидарности. Но в частных комментариях некоторые из политических деятелей южных славян давали волю своим подлинным чувствам. Таковым был, например, Йован Ристич — министр иностранных дел Сербии. Особенно интересным было его высказывание о русских славянофилах, которые, по его мнению, в действительности были "подлинные русофилы, рассматривавшие малые славянские народы в качестве подходящей приманки для удовлетворения ненасытных appetitov русских."

Узконационалистические цели, преследуемые во время Балканского кризиса как русскими панславистами, так и южными славянами, обнаружили истинную подоплеку той "сверхнациональной солидарности", на выражение которой претендовал панславизм. Теперь, более чем когда-либо, стало очевидным, что вместо т.н. "всеславянского" движения, следовало бы толковать лишь о местных — панрусских, пансербских или

панпольских — движениях.

Таким образом, панруссизм, наряду с различными локальными "пандвижениями", оказался на деле лишь одним из вариантов славянского национализма. И все же между панрусизмом и другими славянскими национализмами было существенное различие. Русские, в отличие от других славян, имели могущественное государство, а их сознание было отягощено комплексом мессианизма. Их национализм был поэтому агрессивным, настойчивым, требующим для России доминирующей роли в славянском мире. В этом смысле панрусизм служил лишь привеском к экспансионистской внешней политике государства под прикрытием панславизма. Так государственные цели Российской империи, усиленные четырехсотлетней экспансионистской традицией, подмяли под себя идеал общеславянской солидарности, свойственный панславизму. Как и другие великие и благородные утопии, панславизм был весьма далек от действительной жизни, потерял из поля зрения человека, с его реальными земными интересами, на его реальном и трудном историческом пути.

О т П е р е в о д ч и к а:

При любезном содействии Рутгерского университета и лично профессора Т. Гунчака мы получили возможность предложить для публикации в "Современнике" (в журнальном, сокращенном варианте) русский перевод статьи, извлеченной из сборника по проблемам русского империализма. Статья была написана в 1974 году и сейчас, по нашему мнению, приобрела еще большую актуальность. Насыщенная богатым историко-литературным материалом, научно объективная, она интересна для русского читателя и характерна по крайней мере в двух отношениях: 1/ как освещение одной из центральных проблем российской истории с иных, чем великорусская, славяно-национальных точек зрения; 2/ как показатель общего академического уровня при разработке данного рода проблем в американских университетах.

Автор статьи и редактор сборника профессор Тарас Гунчак — один из ведущих украинских историков на современном Западе. Последние 20 лет он преподает восточно-европейскую и русскую историю в Рутгерском университете (Нью-Джерси, США). Является также директором исследовательской программы университета в области восточно-европейских советологических проблем. Степень бакалавра и магистра получил в Фордхэмском университете, степень доктора философии — в Венском университете. Редактор и соредатор двух научных сборников.

Редактированный профессором Гунчаком сборник о русском империализме (кстати, единственный на эту тему в англоязычной исторической литературе), помимо его собственной статьи, включает еще девять. Сборник снабжен четырьмя историко-географическими картами, иллюстрирующими становление Российской империи с 1550 по 1914 годы. Имеются обширные примечания и именной указатель.

П. Болдырев

ЖРЕЦЫ РЕЖИМА

(Явление Зиновьева)

Книги Зиновьева "Зияющие высоты" и "Светлое будущее" получили широкую известность в Европе и в США. По приезду на Запад их автор, советский социолог и логик, в интервью и в статьях объяснил, какие мнения своих персонажей он разделяет и оправдывает.

1. Чевенгуро-ибанский язык.

В эпоху гражданской войны (1918-1920 гг.) нелюдь, представляющая власть на местах, обзывала "буржуями" и "контрой" всех, кто ей мешал и с кем она сводила счеты, а затем беспрепятственно мучила и убивала их. Эти нечеловеки разговаривают в "Чевенгуре" и "Котловане" на специальном языке – гениальном изобретении Платонова.

Зиновьев хорошо знает один из верхних слоев советской пирамиды, угнетающей население, поскольку он сам в течение 20 лет принадлежал к жрецам режима – профессорам и академикам, с серьезным видом занимающимся "научным" коммунизмом. В "Зияющих высотах" жрецы режима часто говорят на особом чевенгуро-ибанском наречии, на котором в научных институтах возможно лишь прочесть заранее написанный доклад, и по примеру остальных своих соотечественников они цинично издеваются над марксизмом в узком кругу за рюмкой водки.

С самого начала Зиновьев должен был объяснить западному читателю, что заселил Ибанск бывшими коллегами, которые проводят время в разговорах об этой мертворожденной доктрине, а не подсоветскими людьми из нижних, не привилегированных слоев пирамиды, уже давно похоронивших для себя марксизм.

2. Научные законы.

По Зиновьеву, научные законы не обнаруживаются (открываются) в изучаемой действительности, а "выдумываются (изобретаются)" (ЗВ, 27).* "Сами по себе научные законы нельзя подтвердить и нельзя опровергнуть опытным путем". (ЗВ, 27). Эти парадоксальные утверждения не требуют комментариев, ибо, к счастью, точные науки подтверждают эксперимен-

* В скобках указаны страницы книг или речей Зиновьева, которым предпосланы следующие сокращения: ЗВ – "Зияющие Высоты", СВ – "Светлое будущее"; КИ – Комитет интеллигенции в защиту правовой Европы.

тально универсальные законы природы.

Научные законы Зиновьев противопоставляет законам вещей и устанавливает "тонкость этого различия" (ЗВ, 28) на чевенгуро-ибанском наречии, требующем от простого смертного умственного напряжения, как для расшифровки иероглифов. Из дальнейшего изложения явствует, что научные законы или, как уточняет (на этот раз на человеческом языке) главный персонаж Зиновьева Шизофреник, их следствия тождественны социологическим наблюдениям: "...в исследовательских учреждениях, в учебных заведениях, в управленческих организациях... руководящие посты в большинстве случаев... занимают люди глупые и бездарные... но хитрые и изворотливые..." (ЗВ, 29). "...Как могли такого негодяя назначить на такой ответственный пост, как могли такому кретину поручить такое дело..." (ЗВ, 29). "Кстати сказать, выражение "ответственный пост" есть нелепость, ибо все посты безответственны" (ЗВ, 29).

Поскольку западный читатель не знаком с советской действительностью, Зиновьеву следовало бы объяснить, что кретины-начальники царят в областях, где начетчики изучают "научный" коммунизм и составляют цитатники по марксизму. В этом случае не обязательно проявлять ум, можно болтать, как попугаи, и писать одну книгу бригадой в 20 человек. Но напрасно Зиновьев считает, что умный начальник — это случайность, а не закономерность. Для других областей выполнение плана — дело нешуточное. Оно требует для ответственных постов людей с головой и железной волей. Нередко во главе отделов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро поставлены беспартийные специалисты или талантливые карьеристы с партийным билетом в кармане.

3. Социальные законы.

Марксистскому философу Зиновьеву социальные законы доступнее научных, и он подробно их рассматривает:

"Социальные законы суть определенные правила поведения (действия, поступки людей друг по отношению к другу." Они основаны на стремлении "людей и групп людей к самосохранению и улучшению условий своего существования", чему способствуют следующие правила: "меньше дать и больше взять, меньше риска и больше выгоды, меньше ответственности и больше почета" и т.п. (ЗВ, 38).

"Социальным правилам поведения люди обучаются... на собственном опыте" и "глядя на других". "Хотя социальные законы соответствуют природе человека... люди предпочитают о них помалкивать или даже скрывают их (подобно тому, как они прячут грязное белье...). Почему? Да потому, что прогресс общества в значительной мере происходил как процесс изобретения средств, ограничивающих и регулирующих действие социальных законов". "Мораль, право, искусство, религия, пресса, Гласность, публичность, общественное мнение и т.п. изобретались людьми... как средства такого рода." (Там же).

Со всем сказанным нельзя не согласиться. Но не открывает ли Зиновьев Америку, когда называет социальными законами то, что уже более трех тысяч лет назад получило название последствий первородного греха?

Когда социальные законы приобретают огромную силу, складывается "особый тип общества, в котором будет процветать лицемерие, насилие, коррупция, бесхозяйственность, обезличка, безответственность, халтура, хамство, лень, дезинформация, обман, серость, система служебных привилегий и т.п. (ЗВ, 40). Мастерское описание "особого типа общества" не оставляет у читателя и тени сомнения, что речь идет об СССР. Но выступая в ноябре 1978 года в Париже (1), Зиновьев неожиданно уточняет: "...общественный строй, который имеет место в Советском Союзе, сложился естественно, в полном соответствии с социальными законами". Странное название дал Зиновьев социальному произволу головорезов. Социальные законы в цивилизованных государствах до катастрофы 1917 года и в современном Свободном мире не требовали создания машины террора, уничтожившей миллионы, и искоренения гражданских свобод, и не следовало бы путать эти законы с инструкциями КГБ.

4. Социальные группы.

Социальной группой Зиновьев называет "скопление индивидов, вынужденное более или менее постоянными условиями их существования" (ЗВ, 89). Индивиды разделяются на "часть, образующую тело группы, и часть, образующую ее руководящий (господствующий) орган". Социальные группы могут быть простыми (до десяти человек) и сложными (производными из простых групп) и "различаются как спонтанные и официальные". Пример спонтанных групп — банда грабителей, объединение революционеров, ученых; пример официальных групп — взвод в армии, сектор в научно-исследовательском институте. Кроме социальных групп, существуют производственные группы (взвод, цех, институт, рассматриваемые с иной точки зрения). "От социальных и производственных групп надо отличать социальные слои" (ЗВ, 91). Каждый слой "образуют люди определенного уровня и стиля жизни".

Зиновьев обещает не рассматривать производственные группы ("это область политэкономии, социальной политики, права и т.п. — ЗВ, 91) и верен своему слову. Ни в "Зияющих высотах", ни в "Светлом будущем" нет Инженера, Врача, Рабочего (2), Колхозника, Заключенного, поскольку их жизнь не интересует жрецов режима. Но Зиновьев не может не знать об огромных нормах выработки и нищенской оплате и не рассматривает производственные группы, видимо, чтобы не говорить о чудовищной эксплуатации, царящей в стране.

Примечательно, что марксист, воспитанный на идее классовой борьбы, говоря об СССР, подменяет марксистский термин "классы" социальными группами. Поэтому из его поля зрения исчезла пирамида угнетения, на вершине которой аппаратчики, управляющие страной, и несколько ниже —

класс угнетателей, совместно попирающие класс угнетенных (работников умственного труда, рабочих, колхозников, заключенных) у ее подножья. Куда безобиднее говорить о социальных слоях!

Малюсенький слой жрецов из партийной касты накрепко соединил свою судьбу с режимом. Абсолютный аморализм разрешает им думать лишь о своей карьере. Поэтому новоявленные социологи не увидели мельчайших социальных групп людей, связанных друг с другом полным взаимным доверием. В стране миллионы таких *микробратств*, перебрасывающих между собой мостики. Замалчивать этот вопрос означает искажать действительность в стране и уводить читателя от размышлений о положении народа и его отношении к власти.

Социальный слой партийных жрецов, к которым еще недавно принадлежал сам Зиновьев, предстает перед нами во всей красе. Сбор бездельников и болтунов пьянствует, продает друг друга, критикует и высмеивает порядки, рассказывает анекдоты о режиме, не опасаясь неприятностей.

Сборища элиты могут привести западного читателя к ошибочному суждению об остальном населении и к заключению, что необходимый уровень свобод в СССР достигнут. Кроме того, он дезориентирован обсуждением учеными с серьезным видом преимуществ коммунизма и достаточно уважительным отношением к марксизму.

5. "Марксизм — великая идеология".

Несмотря на уничижительное отношение к марксизму, граничащее с издевкой ("Предложения идеологии нельзя опровергнуть и подтвердить, ибо они бессмысленны" — ЗВ, 164, "...для идеологии нужен именно бред" — СБ, 24), персонажи Зиновьева верят в несокрушимость этой идеологии ("марксизм — великая идеология... как был, так и остался неуязвимым" — СБ, 84). А ведь еще в начале века соратники Ленина потешались над его "святой материей".

Зиновьев не может не знать, что основоположники кастрировали материю, являющуюся для них синонимом объективной реальности, и приписали ей фантастические атрибуты, лишив ее конкретных свойств. Не смешно ли в связи с этим недоказуемое утверждение марксизма о познаваемости мира, в которое возможно лишь слепо верить? Правда, Антон в "Светлом будущем" пытается показать, что темная вера недостойна ученого: "Как быть, например, с таким признаком вещей, которых в самих вещах нет, но которые представляют собою акт воздействия их на человека?" (СБ, 68). "Все течет, все изменяется, утверждаете вы, украв эту банальность у греков. А все ли? Например, как изменяется квадрат, корень из минус единицы, круглый квадрат и т.п. А изменяется ли то, что неизменно? Ясно, надо выкручиваться. Мы, мол, имеем в виду эмпирические, материальные вещи. Хорошо. А идеальные не изменяются?" (СБ, 68).

Марксизм катастрофически отстал от современных научных представлений. Все попытки его приспешников (З) оправдать с позиций науки поло-

жения Энгельса окончились позорным провалом. Поэтому марксизм вынужден был вести борьбу с подлинной наукой, его опровергающей. В разные годы Советской власти были преданы анафеме психология и парапсихология, теория относительности, генетика, квантовая механика, кибернетика, и тысячи ученых посадили, расстреляли, уморили голодом в лагерях. А потом, под давлением фактов, как ни в чем не бывало, узаконили вчера гонимые науки. Когда наука наносила марксизму сокрушительные удары, и он вынужден был поджимать хвост, он никогда не признавал открыто своих ошибок, а лишь втихую исправлял промахи, стоившие жизни людям. Все это происходило на глазах Зиновьева и должно было быть отражено в его книгах четко и недвусмысленно.

Каждой жертве режима крайне важно знать, что идеология, ради которой ее мучают, представляет собой грудку мусора, и, следовательно, режим, основанный на этой идеологии, не имеет права на существование.

6. Крысарий.

Ряд коротеньких глав ("Крысы"), к сожалению, не получил развития в книге. Жаль, ибо замысел сулил успех настоящему сатирику. Голосование поднятием крысиных хвостов, свирепое уничтожение избранницы меньшинства, "разумность систематически проводимых... массовых уничтожений" (ЗВ, 179), старые крысы из системы управления дали бы возможность Свифту описать "особый тип общества", вероятно, в виде крысария, за которым наблюдают Болтун, Шизофреник, Клеветник. Крысы говорили бы на чевенгурском наречии, наблюдатели — на более доступном языке. Разговоры, исследования, трактаты, насмешки были бы оправданы и не передавались бы то из сортира, то с гаупвахты, то из авиашколы. Жизнь крысария отразила бы разные годы "особого типа общества", и читатель проследил бы нюансы эпох, от Ленина до Брежнева.

В последней части "Зияющих высот" — "Поэме о скуке", Зиновьев делает попытку предвидеть будущее, но и здесь поражает его неспособность оторваться от знакомой ему среды. Мы, видимо, в Ибанске после атомной войны, еще более сером и нудном, хотя и правящем всем миром. Правда, появился подземный Под-Ибанск — еще более подлая, грязная, вонючая параллельная цивилизация, где человеческие отходы идут на кирпичи для зданий и употребляются в пищу. Автор хочет поразить читателя грубостью и нецензурными выражениями.

Коммунистический режим держится на преступлениях, пытках, казнях. Возможно, систематическое истребление людей вызывает скуку у его сановников, но угнетенное население испытывает на своей шкуре чудовищный режим и далеко от этого аристократического чувства. При Сталине жить было страшно, но не скучно. Мировое мнение несколько сдерживает аппетиты руководителей КПСС, но во всемирном Ибанске коммунистический режим проявит себя во всей красе. Гигантские лагеря поглотят всех подозрительных. Церкви и секты объявят вне закона, верующих заставят

публично отказаться от Бога, население разделят на господ и рабов, развитие науки и техники прекратится, дабы быть гарантированным от изобретения нового оружия против режима. В гнетущей атмосфере ужаса в ряде районов, где терять уже нечего, не исключено и сопротивление.

К сожалению, у Зиновьева другое восприятие мирового коммунизма. "Стало модно ходить голыми, кишеть насекомыми, жрать экскременты и вонять в соответствии с социальным положением" (ЗВ, 555), Сотрудник (4) с какой-то тайной целью организует оппозицию, люди сами занимают очередь в крематорий... Болтун подводит итог: "основу подлинно человеческого бытия составляет правда... Беспощадная правда" (ЗВ, 560). Жаль, что автор не услышал этих слов, когда взялся за перо.

7. "Система удобна для подавляющего большинства населения.

"Вместе с тем эта система удобна для подавляющего большинства населения. Оно поносит свою систему во всех звеньях и на всех уровнях. Но не сменяет добровольно ни на какую иную" (ЗВ, 284). К сожалению, это парадоксальное заявление принадлежит самому Зиновьеву, а не его персонажу, поскольку он повторил его неоднократно по приезду на Запад в своих интервью. Зиновьев не обосновывает свою мысль. Что же он считает благом?

- Превращение вольных землепашцев в закрепленных за колхозом рабов, вынужденных даром работать на государство и лишенных возможности переселиться в город или в другую местность,
- нищенские заработки рабочих и утрату права на забастовки,
- заработок инженеров в 10-15 раз меньше, чем на Западе,
- запрет частной торговли и предпринимательства, наказуемого даже расстрелом,
- закрытие почти всех церквей и гонения на верующих,
- коммунальные квартиры для горожан, похожие на зверинец?

Население не сменит добровольно этот режим ни на какой другой, — смело утверждает Зиновьев. Однако в западной прессе неоднократно появлялись сообщения о стихийных возмущениях рабочих, потопленных в крови, об организации свободных профсоюзов, об арестах верующих. Подпольное сопротивление населения подавляется непрерывным террором. По сведениям академика Сахарова в лагерях и тюрьмах в настоящее время три с половиной миллиона политических заключенных и ежегодно расстреливают около 1500 человек, не сообщая об этом в прессе.

Почему, при удобной для подавляющего большинства населения системе, в стране такой низкий уровень жизни, и миллионы людей устремляются в Москву за продовольствием? Почему даже жрецы режима и другие представители советской знати между собой нещадно ругают эту систему и насмеваются над ней? Откуда полная деградация многих областей жизни, показанная Зиновьевым в его книгах? В чем преимущество системы, где

благоденствуют, как неоднократно подчеркивает Зиновьев, лишь подлецы и подонки, а таланты душат и запирают в тюрьмы и дурдома? Почему режим против угнетенного населения? Так ли хорошо всем угнетателям, как кажется Зиновьеву?

Зиновьев, подобно другим жрецам режима, не скрывает своего презрения к угнетенному населению. По его мнению, простому человеку не нужна свобода, раз он не оценил хлопот интеллигентов, добывающихся права на беспрепятственный выезд из СССР; и укорил их: "Бесятся с жиру, поработали бы в колхозе". А не говорит ли это о классовом неравенстве в благополучной системе, от которого простой человек настолько задавлен каждодневной жизнью, что ему не до проблем, волнующих интеллигенцию? Интересно, что ответил бы он Зиновьеву, если бы тот его прямо спросил, хочет ли он иметь право на забастовки, на уход из колхоза, на переезд из одного города в другой, на отпор избиениям в милиции?

Когда человек доволен условиями жизни и властью, он не пьянствует и не ворует. Не свидетельствует ли обратное о том, что у народа обрублены крылья и перебит спинной хребет? Умопомрачительное пьянство, возможное лишь при неслыханном воровстве, свирепствует в стране. Но говорит ли это о природе народа, мечтающего лишь о водке? Миф о природе русского человека создан не случайно лакеями режима. Он позволяет им уйти в кусты и успокоить остатки своей совести: народ доволен, помогать ему не требуется.

Но народу, как хлеб, нужна помощь образованных людей для создания стратегии и тактики борьбы с режимом, для координации усилий. Более 50 лет русская интеллигенция готовила свержение царской власти, но почти нет охотников среди жрецов режима вступить в единоборство с сатанинской властью, не имеющей права на существование. Не явное ли это предательство народа?

"Человек приучается не иметь тайны и избегать ее. А человек без тайны есть социальная штучка, и не более. Пустышка" (ЗВ, 342). Но почему довольных режимом людей довели до такого состояния?

В сталинских лагерях многие бытовики (5) заявляли: "Я не контрик, у меня нет тайн, мне скрывать нечего, я — хороший и не интересуюсь политикой. Нам, "контрикам", было ясно, что подобные декларации были вызваны обстановкой в стране и в лагере. Но после смерти Сталина прошло почти 30 лет, а в стране схожий гнет, способствующий разобщению.

Если население не хочет сменить власть ни на какую другую, зачем же КГБ стоит зорко на страже? Почему он вербует силком стукачей? На всю Российскую империю имелось 10 000 жандармов, в КГБ — 400 000 штатных сотрудников и несколько миллионов осведомителей. Зачем око КГБ, если режим не опасается населения? Что было бы, по мнению Зиновьева, через полгода в стране, если бы распустили КГБ?

В СССР нет отступлений от рецептов Маркса. Власть захватили и закрепили в ходе классовой борьбы, давшей возможность уничтожить фабри-

кантов, помещиков, купцов, кулаков, то есть всех "бывших", всех "буржуев", всех не угодных режиму и не согласных с ним. В руках государства все средства производства, всё богатство страны, захваченное при ограблении всех слоев населения. Диктатура "пролетариата" установлена и поддерживается террором, религия разрушена, "мелкобуржуазная сущность" крестьянства ликвидирована. При Ленине исполнение марксистских заветов унесло 20 миллионов жизней, при Сталине – 60 миллионов. Катастрофически падает удельный вес русских, украинцев, белорусов в населении СССР. Только за последние 15 лет образовался дефицит в 30 миллионов человек. Горячая благодарность народа режиму за астрономические цифры жертв не подлежит сомнению!

Зиновьев говорит от имени народа. Но кем он уполномочен? Единственный представитель народа в "Светлом будущем" – пьяная старуха, к которой автор ни разу не подошел. За народ, который безмолствует, говорят интеллигенты. Схема – не новая.

"Партия организуется по принципам гангстеризма" (СБ, 125). "Наши привилегированные слои сеют скуку, серость, бездарность, корыстолюбие, разврат, ложь, паразитизм, тщеславие и т.п." (СБ, 131). На коммунистическую мораль таких наставников население отвечает *моралью рабов (6)*, что свидетельствует о крайней степени угнетения людей.

"Практическая идеология низших слоев населения складывается под влиянием таких факторов, как дефицит всего необходимого, плохая информированность, страх худшего, желание надеяться на лучшее, незащищенность перед властями и т.д." (СБ, 200). Наше же общество есть общество, осуществляющее общую деперсонализацию индивидов как принцип" (СБ, 205). Режим не случайно искореняет религию: при отрицании души легче отрицать личность человека. Не превращение ли людей в роботов так нравится населению, не желаемому сменить власть?

"Коммунистический образ жизни выгоден огромной части населения страны. Подсчитай, сколько у нас министров, заместителей их, начальников главков и трестов, директоров, секретарей обкомов и райкомов, академиков, писателей, художников, офицеров и генералов и т.д. и т.п. вплоть до милиционеров, заведующих секторами, кафедрами, домоуправлениями, складами, магазинами и т.д. и т.п. Этот строй – их строй"... "значительная масса населения живет очень даже хорошо" (СБ, 152, 153). Интеллектуал Антон – один из главных персонажей "Светлого будущего", перечисляет угнетателей, мелких и крупных. Эти привилегированные слои населения действительно живут "очень даже хорошо" за счет чудовищной эксплуатации, которая всей тяжестью давит на слои угнетенных. Взрослое население 255-миллионного СССР составляет примерно 155 миллионов (7), и в пирамиде, представляющей социальную систему СССР, разделяется на 20 миллионов угнетателей (8) и 135 миллионов угнетенных. Из угнетателей следует особо выделить касту партийных бюрократов (их 300 000), так называемых номенклатурных работников (аппаратчиков), живущих в роско-

ши за высокими заборами, прячущими их от населения. В кусок пирога избранных вцепились не более 10 миллионов угнетателей. Остальные не прочь сменить свои должности, да бояться расплаты. Заведующие магазинами и складами живут за счет огромных взяток под вечной угрозой расстрела при раскрытии их махинаций.

Из какой слоновой башни говорит Зиновьев устами Антона о достатке и счастья значительной части населения? 50 % из 135 миллионов угнетенных — горькие пьяницы, психи, нервноболезные, люди с подорванным здоровьем. В "удобной" для населения системе "жизнь на пределе социальных возможностей... порождает определенный тип социальных индивидов: социальных клопов, социальных червяков, социальных крыс, социальных змей, ящериц, скорпионов" (СБ, 72). "...Всеобщая ожесточенная борьба за привилегии" (СБ, 91) ведется чудовищными скорпионами, представляющими огромную опасность для всего мира. Зиновьев вынужден констатировать, что в "...Советском Союзе социальный прогресс невозможен. Это — социальный паразит" (СБ, 72). Но из 70 миллионов полноценного угнетенного населения не менее 10 миллионов готовы для сознательной и активной борьбы с режимом. Эти силы прежде всего затронет *революция в умах* (9), которую сможет осуществить радиостанция Запада, если она будет доверена людям, знающим советский режим и познавшим "преимущества" коммунистического рая.

8. Неравенство из равенства.

"Социальное неравенство вырастает из того, что реализуются принципы равенства" (КИ). Этот парадокс потребовался Зиновьеву, видимо, для того, чтобы подкрепить тезис о довольстве населения режимом и сгладить впечатление от невиданного неравенства жизни угнетателей (особенно ее высших слоев) и угнетенных. Именно поэтому марксисты отрицают равенство и считают его мелкобуржуазным лозунгом.

В 1930 году в СССР на многих заводах попробовали давать всем одинаковую зарплату. Очень скоро спохватились и осудили этот опыт как "уравниловку", заменив ее лозунгом: "каждому по труду". С тех пор неравенство верхних слоев пирамиды и жалкое существование ее нижних слоев получило полное оправдание. И родилось это неравенство не из реализации принципа равенства, а из алчности правящей шайки и продажности жрецов режима.

9. "Начальство народно, а народ начальственен".

"Ибанский народ достаточно образован, начитан и вполне отдает себе отчет в своем положении. Он знает, чего хочет. И в общем имеет именно то, что хочет. Деятельность начальства отвечает его интересам. Во всяком случае, ни о каких принципиальных конфликтах народа и руководства у нас и речи быть не может. Начальство народ не занимает. А потому, что

начальство народно, а народ начальственен" (ЗВ, 281). Удивительно, что жрецы Зиновьева не заметили сопротивления населения режиму и ни слова не проронили ни в "Зияющих высотах", ни в "Светлом будущем" (общий объем которых почти 800 страниц) о сверхчеловеческом противостоянии деревни, не желающей работать на колхозных полях.

Все же Зиновьев не смог пройти мимо борьбы народа с режимом. В обществе, где "каждому по его социальному положению" (ЗВ, 445); "в людях накопилось слишком много злобы и ненависти. Боюсь, что их локальные вспышки могут перерасти во всеобщие и принять опасные масштабы... такое ощущение, будто надвигается что-то очень серьезное. Я говорю, что сейчас так многие думают" (ЗВ, 274). "Знаешь, я не против драки. Но чтобы драться по-мужски. Открыто. Кулаками. Пусть палками, ножами. Пусть зубами" (ЗВ, 273).

Не противоречат ли эти высказывания персонажей Зиновьева его декларациям об отсутствии конфликта между народом и режимом, о довольстве народа, о том, что он не считает деградацией реальное развитие мира в сторону коммунизма (СВ, 67). Не образчик ли это двоемыслия Зиновьева? Выступая в Париже, Зиновьев сказал, что советское общество "порождает недовольных и людей, способных к сопротивлению" (КИ). Будем считать это шагом Зиновьева к открытому признанию им неприемлемости для человека дьявольской системы, превращающей его в грязь.

10. За что бился Чапаев.

"... Зачем носился Чапаев с шашкой наголо: отнюдь не для того, чтобы спасти страждущее человечество, а для того, чтобы в частности, чиновники из аппарата всех сортов власти (ЦК, КГБ, Академии Наук, Союза Писателей и т.п.) могли на персональных машинах ездить в спецраспределители за продуктами, которых нет в обычных магазинах, приобретать шикарные квартиры и дачи, пользоваться лучшими курортами и достижениями медицины..." (КИ). Немало легковых людей искренне, как Чапаев, думали, что бьются за рай на земле для простого народа, а не за привилегированные условия для аппаратчиков. Если бы чапаевы могли предвидеть результаты победы коммунистов, то они изрубили бы в лапшу политических комиссаров Красной армии.

Народ в гражданской войне участия почти не принимал. По разным причинам ему не нравились ни белые, ни красные, которые вместе составляли лишь несколько сот тысяч человек. Опасности красных народ не понимал и не спешил поддерживать белых. Он выжидал, гадал о том, кто возьмет верх, отсиживался в лесу, восставал, когда становилось невмоготу. У него отбирали продукты по так называемой продрозверстке, его заставляли исполнять ряд трудовых повинностей.

А события развивались бурно, и вскоре нельзя уже было исправить положение.

11. Построили по плану.

"Построили по плану, в полном соответствии с мудрыми указаниями вождей и чаяниями масс... Более того, ничего другого и не могло построиться" (КИ). Основоположником проекта был Маркс, главным строителем — Ленин, производителями работ — большевики, исполнителями в 1917-18 гг. — обманутые рабочие и крестьяне, некоторые инородцы, немецкие и венгерские военнопленные, преступные элементы. По темноте и неграмотности народ не в состоянии был разобраться в обещаниях, верил, что будет лучше, чем при царе, но уж никак не хуже, принимал лозунги за чистую монету, понимал их в желаемом для себя смысле. Таковы были его чаяния.

Но очень быстро на своей шкуре рабочие и крестьяне поняли цену обещаний большевиков. Новый режим принес разруху и голод. Заводы стояли. Рабочие демонстрации и забастовки расстреливались. С 1918 года начался террор ЧК. В 1921 году Ленин свирепо расправился с сопротивлением партийных рабочих ("рабочая оппозиция" во главе со Шляпниковым), уцелевших добил Сталин. Крестьяне ответили Тамбовским мятежем, матросы — Кронштадтским. Из сотен восстаний в стране то были лишь самые известные. (10).

Схема Маркса была применена в крестьянской стране. Ленин был уверен, что немедленно начнется мировая революция. Из уже разоренной страны вывозили в Германию хлеб и золото. Начались массовые эпидемии, голод поражал целые области. Только боязнь всеобщего крестьянского восстания заставила Ленина сменить "военный коммунизм" на НЭП.

Маркс не понимал природы человека. Его "мудрую" систему смогли установить в России лишь террором. С тех пор глухая война режима и населения длится вот уже 60 лет. План красных кхмеров куда проще: всё взрослое население уничтожено в рекордно короткий срок. У нас, современников этих событий, этот план вызвал лишь ужас и отвращение. Но быть может, через сто лет найдутся летописцы, которые поведают о мудрости красных кхмеров и осуществившихся чаяниях камбоджийцев.

12. Насилие — не злой умысел тиранов.

"Насилие есть равнодействующая свободных волей индивидов, а не злой умысел тиранов. Тираны такие же пешки в руках добровольно вырастающей власти, как и их жертвы. Неограниченная власть тиранов есть иллюзия, рождаемая ситуацией всевластия жертв власти" (ЗВ, 347). "Массовые репрессии после революции и при сталинизме... есть народовластие в реальном его исполнении" (КИ) — подтвердил Зиновьев вышеприведенную мысль, принадлежащую его персонажу, в своем выступлении в Париже.

Итак, тиран, развязавший террор в стране, уничтоживший голодом и непосильной работой миллионы, вершивший пытки и расстрелы, не несет ответственности за совершенные преступления, ибо он лишь пешка и подoben своим жертвам. Убийственная логика для профессора логики! Некто

Он в "Зияющих высотах" замечает: "Будут истреблять... пока не появится какая-то форма защиты и самозащиты... Из законов этого общества она не следует... Если появится, то случайно" (ЗВ, 356).

Рабское состояние — не норма для человека, так же как законы тоталитарного общества. Сопротивление им не случайность, а закономерность. Душегубы типа Амин-Дады не действуют по законам, когда уничтожают в маленькой Уганде 300 000 человек. Геноцид нельзя обелить и оправдать никакими законами: ни законами красных кхмеров, ни красных эфиопов, ни покойного Мао.

Как мог дойти Зиновьев до следующего утверждения: "Самое предельное насилие над личностью в рамках этого общества вырастает именно из забот о личности" (КИ)? Видимо, с молоком матери он впитал в себя ленинские указания о том, что террор — средство убеждения, и диктатура — ничем не ограниченное насилие. Ленин потребовал "открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы" (11), и по его заветам была создана знаменитая 58-ая статья против контрреволюционной деятельности — образчик террора и заботы о личности тирана, позволившая Сталину начать расправу с народом еще до своих чисток и узаконить "активный" допрос с применением пыток.

13. Око КГБ.

"... В такой ситуации самой либеральной силой в стране начинает выглядеть высшее руководство и даже карающие органы", — отметил Болтун. "Ты прав, говорит Мазила, и с энтузиазмом начал приводить примеры" (ЗВ, 283). Какие — неизвестно, ибо в книге они отсутствуют. Зато око КГБ неусыпно следит за всеми беседами в "Зияющих высотах", ведь их постоянный участник — Сотрудник. Для жрецов режима он — компанейский парень, собутыльник. Его не опасаются, при нем не переводят разговора на погоду или футбол. Возможно потому, что "все граждане регулярно выполняют функции стукачей, даже не подозревая зачастую этого и не видя в этом ничего предосудительного" (ЗВ, 342). Напрасно Зиновьев свои наблюдения о жрецах перенес на всех граждан. Жрецы режима — особый социальный слой, и не следует думать, что все переплелись в змеином клубке КГБ.

Снисходительное отношение Зиновьева к сотрудникам КГБ ошеломляет: "Формально они удовлетворяют всем требованиям морали, права и дела. К ним не придерешься" (ЗВ, 348). Но разве видимость может служить оправданием? Простые люди сторонятся КГБ, как огня. Они знают, что протяни ему палец — отхватит руку, из свидетеля превратит в обвиняемого, и уж никогда из своих сетей не выпустит.

Цель КГБ — иметь неиссякаемый резервуар осведомителей, сыщиков, следователей, палачей, тюремщиков, конвоиров этапов, стрелков охраны лагерей, солдат карательных войск... В КГБ — море доносов от стукачей

и падших. И спасибо за это следует сказать режиму, который из людей делает нелюдь. Такова расплата за искажение личности, за порабощение. Доносят в обкомы и в райкомы партии, в райисполкомы, в низовые партийные организации, доносят по всей стране. Режим искарежил человека, но одновременно выковал миллионы своих могильщиков, которых сдерживает только мощь КГБ. Без него в стране немедленно начнутся забастовки и беспорядки, вихрь которых поглотит всех приспешников режима. А на заводах и фермах освободившейся страны никому и в голову не придет заводить снова КГБ.

Что естественного нашел Зиновьев во власти, установленной патологическими злодеями при поддержке обманутых неграмотных людей и отбросов общества? Видимо, у него произошло смешение понятий. Режим получил свои качества не от народа, а наградил его ими, и с тех пор внедряет их с помощью КГБ.

14. Из кого состоит оппозиция?

"... Оппозиция в принципе не может сформулировать никакую серьезную положительную программу преобразований. Она рождается и уничтожается как болезненное явление и не имеет никакой поддержки в массе населения" (ЗВ, 277).

Зиновьев считает оппозицией только диссидентов, поскольку народ в его воображении всем доволен. В этом случае его оценка оппозиции правильна: диссиденты за 15 лет своего существования, действительно, не предложили не только программы преобразований в стране, но даже не выработали тактики собственного поведения (12). Следует целиком согласиться и со следующим утверждением Зиновьева: "наши диссиденты — плоть от плоти и кровь от крови советского общества, они несут в себе черты этого общества в гипертрофированном и карикатурно-болезненном виде, сами того не замечая" (СБ, 209). Именно поэтому ряд диссидентов дезинформирует общественное мнение, искажая природу режима.

Как уже было сказано выше, сотни тысяч рабочих и крестьян работают спустя рукава на этот режим, верующие требуют свободы религии, национальные меньшинства против руссификации. Такова советская действительность. Огнедышащий вулкан время от времени колышет землю, и прорываются в западную прессу сведения о возмущении или забастовке в одном из советских городов.

Подпольные силы освобождения существуют, так же как способность "граждан отстаивать свои интересы в борьбе с властями" (ЗВ, 370). Но только от них шарахаются жрецы режима: "Вон куда гнешь, подумал Почвовед. Нет, это не пойдет. Надо все это уничтожить. А то с такими штучками можно напороться на крупные неприятности. Зря я с ним связался. Зря." (ЗВ, 370).

15. Хватит одной.

"Когда я говорю, что это естественное состояние(общественный строй СССР — Д.П.), это не значит, что я считаю это состояние хорошим. Лично мне оно не нравится. Но оно естественно в том смысле, в каком естественной является вода в качестве среды существования рыб..." "Птицы могут сказать рыбам: — Как прекрасно в воздухе, полетим с нами. Но ведь рыбы не могут летать, они плавают..." (КИ). Зиновьев снова подтвердил, что "нельзя осуждать рыбу за то, что она живет в воде" в интервью, которое дал газете "Свободная Бельгия" 3 сентября 1978 года. Но ведь зиновьевская рыба плавает не в чистом водоеме. Подрезимная действительность — отравленная, грязная, тухлая вода, и рыбы в нейдохнут.

Из всех книг Зиновьева следует, что режим прогнил, и непонятно, почему на вопрос корреспондента "Свободной Бельгии": — Итак, Вы не верите в возможность революции?, Зиновьев ответил: — Хватит одной...

Отрицание необходимости освобождения от режима вытекает из убежденности Зиновьева в том, что народ доволен властью и своей участью. Хочется думать, что такое мнение, идущее вразрез с действительностью, было высказано в погоне за оригинальностью, и здравый смысл возьмет у него верх. Новая книга "В преддверии рая" позволяет на это надеяться.

Пр и м е ч а н и я:

1. Выступление было организовано Комитетом Интеллигенции в защиту правовой Европы (КИ). На русском языке опубликовано в журнале "Синтаксис" (№ 3, 1979, Париж).
2. За редким исключением некоего Посетителя.
3. Например: Лысенко, Лепешинская, Опарин (См. Д.Панин. Постулаты марксизма и законы природы. Париж, 1978).
4. Агент КГБ.
5. Осужденные за должностные преступления (растрату, халатность, превышение своим положением), а не по уголовным и политическим статьям.
6. "... Когда безбожные господа требуют от нас, рабов, правды, мы ее говорить не будем... Когда господа требуют, чтобы рабы не брали из господских запасов, мы будем брать. Ибо таковы наша мораль и наше понимание честности". (Д.Панин. Записки Сологдина. Франкфурт на Майне, 1973, стр. 138).
7. Дети до 18 лет и старики составляют около 100 миллионов.
8. Включая стукачей и обладателей низовых доходных мест.
9. Д.Панин. "Как провести революцию в умах в СССР" (Панин. Горе — не беда. Париж, 1978).
10. Ценные сведения и цифры содержатся в работе М.Бернштама "Стороны в Гражданской войне 1917-1922 (См. "Вестник РХД", № 128).
11. Ленин. Собр. соч., 5 изд., т. 45, стр. 190.
12. Д.Панин. "О стратегии борьбы с режимом в СССР" ("Горе — не беда", стр. 32-39).

"КОНТИНЕНТОВСКИЕ" СЕРЕДНЯКИ...

Упрямо не везет журналу "Континент" со статьями на исторические темы. Только что, на протяжении двух номеров, кормила редакция своих читателей многоглагольно-скучными "Заметками о традициях русского либерализма" Германа Андреева (№ 22, стр. 255–278 и № 23, стр. 263–285). Теперь, в номере 24 (стр. 239–261), появилась статья Александра Некрича "Сталин и нацистская Германия".

Название, что и говорить, интересное. Но каково исполнение? Чтобы петь в опере, надо иметь голос. Чтобы писать статьи с глубоким анализом советской истории, мало быть бывшим (пусть даже известным) советским историком. Надо обрести еще кое-что: свободную концептуальность мышления, индивидуальность оценок, технику историографического письма, преодолевшую советские шаблоны. Всего этого Некричу жутко недостает, и он похож на эстрадного певца, который вдруг взялся за оперный репертуар. Ноты он, конечно, знает, да и с помощью микрофона (в случае Некрича – журнала "Континент") может быть услышан, но если уж ты не Карузо и не Шаляпин, то за их партии браться не стоит. Как же "поет" Александр Некрич?

Психологическая характеристика Сталина по линии его сопоставления с Гитлером может дать исследователю прекрасные возможности. Демонические контрасты и сходность этих людей, их однородная в основе типология, скрещение их судеб и пристрастий, вкусов и отталкиваний – перед лицом истории всё это сюжет вдохновляющий. Но он не всякому по плечу. А.Некрич во вступительной части своей статьи пишет: "Образ мышления немецкого диктатора был советскому диктатору куда ближе и понятнее, чем государственных деятелей демократического Запада" (стр. 240). Казалось бы, вот и намечена тема статьи – развивай ее! Однако именно *этого* развития в статье Некрича нет; он сам, как будто, чувствует, что с характеристикой Сталина и Гитлера ему не справиться. Посему Гитлера заменяет образ "нацистской Германии" (советским историкам плохо даются "персоналии!"), фраза о "мышлении" двух диктаторов повисает в воздухе, а главная идея статьи – о перманентном стремлении Сталина "дружить" с гитлеровской Германией, остается абсолютно недоказанной. То есть, автор ее "обосновывает", но с помощью таких подтасовок и передержек, что читатель получает блестящий по-своему пример, как *по-советски мысля*, можно писать в *антисоветском* духе. Такое в эмиграции встречается не только у Некрича, но у него это множится буквально каждой деталью.

Некрич утверждает, что Сталин пытался вступить в союз с Гитлером сразу же после прихода нацистов к власти, и лишь "хулиганские выходыки штурмовиков" этому помешали. Сталинские намерения – по Некричу – подтверждаются "многочисленными фактами" (стр. 241). Каковы же эти факты?

В мае 1933 года Ворошилов на приеме немецкой военной делегации в Москве сказал о желании Красной армии иметь дружеские связи с рейхсвером. Секретарь ЦИК СССР А.Енукидзе дружески беседовал с послом Германии фон Дирксеном. Маршал Тухачевский на праздновании Октябрьской революции 6 ноября 1933 г. вспомнил, что "рейхсвер был учителем Красной армии" (стр. 243). М.Литвинов убеждал в декабре 1933 года немецкого посла в том, что СССР не интригует против Германии. В 1934 году Карл Радек намекает немецким журналистам, что хотя Литвинов не германofil, политикой командует не он, а Сталин (стр. 244). В 1935 году Иден шантажируется Сталиным, намекающим на возможность улучшения отношений СССР с Германией (чего не происходит на деле!); в том же году Сталин поручает торгпреду в Берлине Давиду Канделаки "прошупать возможность улучшения советско-германских политических отношений" (стр. 251), чего опять-таки не последовало. В 1937 году имели место новые предложения в адрес Германии, но Гитлер их отклонил (стр. 255).

На фоне этого перечня следуют ремарки Некрича вроде следующих: "С приходом Гитлера к власти началось охлаждение, а затем и обострение советско-германских отношений" (стр. 241). "Сношения с рейхсвером были прекращены..." (Стр. 242). "Сталин довольно осторожен в оценке ситуации с Германией" (стр. 245). "Советско-германские отношения в течение 1933 г. и в 1934 г. продолжали ухудшаться" (стр. 246). "Гитлер решил, что... выгоднее разыгрывать антисоветскую карту" (стр. 255). В 1937 году из Берлина "отозваны полпред СССР Суриц и торгпред Канделаки". (Там же).

Казалось бы, всё ясно: сталинский Советский Союз и гитлеровская Германия конфликтуют, а не сотрудничают, и лишь 1939 год изменяет ситуацию коренным образом. Если же поверить Некричу, то Сталин, начиная с 1933 года, делает ставку на союз с Гитлером. Тогда возникают коварные вопросы: кто в тридцатые годы обладал в СССР всей полнотой власти? Кто мог единоличным капризом повернуть руль как внутренней, так и внешней политики страны? Разве Сталин не был таким человеком? И если он *хотел* дружбы с Гитлером, то почему советская политическая линия не соответствовала его желаниям? А если внешняя политика СССР проводилась *вопреки Сталину*, то почему же Некрич не объясняет этого феномена? Почему вообще он не видит разительного противоречия между реальными фактами и своими попытками дать однолинейную интерпретацию случайно подобранных и не самых значительных эпизодов дипломатической истории? Почему он выдает приемы обычной "игры" политиков за симптомы стабильного политического курса?

В самом деле, смешно видеть в "хулиганстве штурмовиков" причину краха сталинского "стремления" к "дружбе" с Гитлером. Недопустимо и смещать акценты иных дипломатических заявлений, как делает это Некрич. Ведь, к примеру, Ворошилов говорил в 1933 году не просто о желании Красной армии "дружить" с немцами; он хотел "сохранить *прежние*" (т.е. существовавшие до 1933 года) отношения с рейхсвером. Иными словами, Ворошилов как верный сталинский сподвижник, допускал вполне *сталинский* просчет в оценке реалий гитлеровской Германии. Подобно его шефу, не разглядевшему в нацизме *качественно нового* явления в германской истории, Ворошилов думал о нацистском режиме лишь как о продолжении того развития, которое имело место до 1933 года (ведь для коммунистов тогда что Веймарская республика, что Третий Райх были однородными "орудиями господства монополий"). Сам Некрич вынужден констатировать (стр. 244): "В Москве по-прежнему не отдают себе отчета в том, что дни рейхсвера как самостоятельной политической силы в Германии сочтены..." Спрашивается, кто же это в Москве "не отдавал себе отчета"? Не Сталин ли? А если это так, то не уместнее ли анализировать политическую слепоту кремлевского диктатора, его скованность догматическим марксизмом, нежели мнимое стремление его к "дружбе" с Гитлером? Подобный поворот сюжета, что называется, шел в руки, но Некрич предпочел втискивать факты в заданную схему, выдавая советские попытки разговаривать с нацистской Германией как с Германией *прежней*, за стремление дружбы именно с *нацистами*. Между тем, родство двух идеологий (коммунистической и нацистской) не означает ни их полного тождества, ни невозможности их конфликта между собой. Сталин был прагматичным политиком в той же степени, в какой был диктатором. В лице Гитлера ему попеременно виделся то враг, то возможный союзник — в зависимости от обстоятельств, причем сама "родственность" идеологических лозунгов и эмоций могла вызывать особую остроту неприязни. Как известно, нет ничего яростней, чем вражда между сектантами одного корня, а коммунисты и нацисты суть звенья единой цепи, название которой — психология тоталитаризма.

Ссылка Некрича на высказывания Енукидзе малоубедительна. Даже если Енукидзе был одним из "голосов" Сталина, он не был его единственным *голосом*. Высказывания маршала Тухачевского, которые Некрич приводит, не возвышаются над уровнем общих мест, ни к чему не обязывающих. И уж совсем недопустимым приемом является истолкование позиции Литвинова как свидетельства пронацистских устремлений советского руководства. Как известно, именно Литвинов олицетворял собою антигерманский, антигитлеровский курс СССР во внешней политике, за что в конце концов (когда изменились обстоятельства) и был смещен с поста наркома иностранных дел. Что же касается отдельных его реплик и даже деклараций, то как не понять, что они мотивировались конкретными дипломатическими соображениями и чтобы их истолковать другим образом, нужны *другие*, более веские, чем у Некрича, основания?

Курьезом выглядит в статье Некрича утверждение о том, что советско-нацистский союз 1939-1941 годов явился реализацией мечты "о союзе между революционной Россией и революционной Германией 1918-1919 года, который должен был привести к искоренению капитализма в Европе" (стр. 256). Если это ирония, то она очень неуклюжа; если это всерьез — тогда придется иронизировать в адрес автора. Впрочем, не менее курьезной является реплика Некрича о том, что Сталин, мол, извлеки уроки из военного опыта, "после второй мировой войны... отгородил Советский Союз от Германии", отказавшись от "общей границы" с ней (стр. 257). Получается, что Сталин испугался созданной им же самим ГДР, так что ли?

Поверхностность и слабая мотивированность статьи Некрича не случайны: по сути он пишет так же, как писал в СССР, — с той же техникой исследования, с использованием тех же трафаретов, лишь изменив "направление удара", ибо в амплуа советского историка он защищал официальные советские концепции, а сейчас — в положении эмигранта-диссидента — нападает на них. К слову сказать, ведь и нашумевшая некогда книга Некрича "1941, 22 июня" была вполне советской по духу: она базировалась на *хрущевской* интерпретации роли Сталина в войне, за что и удостоилась гнева сталинистов. Разумеется, *антисталинизм* взглядов Некрича может быть поставлен ему в заслугу, но одного этого маловато для того, чтобы ныне всерьез котироваться как подлинно *свободный* историк. И, право же, русский читатель в эмиграции заслуживает исторических исследований более высокого уровня, нежели те, которые — в столь *среднячком* исполнении — печатаются в "Континенте", и число коих умножила теперь профессионально беспомощная статья Александра Некрича.



БОРИС И ЛИЗА

(Из серии новелл "Любовь")

Комната Павловых. У стены кровать, накрытая ковром. Лиза сидит у освещенного электрической лампой стола, перед нею в беспорядке книги. Входит Борис.

Лиза. — Ты рано сегодня.

Борис. — На мое счастье, не было ни митинга, ни собрания.

Он вешает пальто и шапку на гвоздь у двери.

— Ну, как занятия?

Лиза. — Да вот учу весь вечер...

Борис. — Не понимаю, как можно что-либо выучить при таком беспорядке.

Смеясь, Борис сгребает книги в кучу.

— Давай лучше сядем и поговорим. У меня есть новости.

Лиза и Борис садятся на кровать, подложив сзади подушку.

Лиза. — Ну, какие же новости?

Борис. — Какую первой — хорошую или плохую?

Лиза. — Конечно, хорошую.

Борис. — Хорошая та, что меня перевели в помощники главного инженера на конвейере.

Лиза. — Поздравляю. А кто был на этом месте раньше?

Борис. — Тарасов. И это плохая новость: он арестован. Третий инженер за последний месяц.

Лиза. — Он был твоим начальником?

Борис. — Нет.

Лиза. — Слава Богу. Но зачем ты согласился?

Борис. — Нельзя было отказаться.

Лиза. — Зачем ты согласился? Это же опасная должность, не правда ли?

Борис встает и идет к столу:

— Послушай, Лиза, не паникуй раньше времени. Два предыдущих ареста были из других отделов. Кроме того, я не мог отказаться.

Лиза. — Но ведь конвейер у всех на виду. В один день он не додаст каких-нибудь пять машин, и ты отправишься в тюрьму вслед за Тарасовым.

Борис. — Перестань. Лучше расскажи о твоём учении...

Лиза. — Учение как учение. Скоро экзамены.

Борис. — Ну и как?

Лиза. — Должна сдать.

Борис. — Это хорошо.

Лиза. — Но твоя новость совсем не хорошая. Теперь я начала волноваться. Даже больше: я просто боюсь за тебя. Очень боюсь...

Сидя у стола, Борис читает газету. Рядом Лиза, занятая книгами. На стук Борис отпирает. Входит Николай.

Борис. — А, Николай! Как дела?

Николай. — Дела ничего. Пришел вас проведать.

Николай подходит к столу и кладет кулек. Из кармана достает бутылку и ставит рядом. Сняв пальто и шапку, кладет их на кровать:

— Закуска приехала. Стаканы есть?

Лиза приносит из шкафа два стакана и хлеб.

Борис. — Садись, Николай. Что у тебя там?

Николай. — Кусок колбасы и сыр. На завтрак хватит.

Выкладывает продукты и наливает в стаканы водку:

— А ты, Лиза?

Лиза. — Я не пью.

Николай. — Как же так — не пить водки? Ну, за здоровье хозяев!

Николай и Борис пьют.

— Как работа?

Борис. — Да что работа? Плохо, вот и всё.

Николай (Лизе). — Может, съешь колбасы или сыру?

Лиза. — Да вам самим мало.

Николай. — Да, тут не много. (Борису). Что ж там плохого, с работой?

Борис. — С планом не справляемся.

Николай. — Ну, это везде так; не один твой завод в прорыве.

Борис. — Нам от этого не легче.

Они едят и допивают водку.

Николай. — Вот мы воскресенье и отпраздновали. А мне идти пора.

Встает и надевает пальто и шапку.

— На футболе встретимся. Пока!

Борис. — Пока! Хорошо, что зашел.

Лиза. — До свидания, Николай.

Лиза сидит у освещенного лампой стола, читая. Борис, одетый, полулежит на кровати.

Борис. — Довольно тебе заниматься. Уже за полночь, а ты всё книги да книги.

Лиза. — Сейчас кончу.

Она продолжает читать, но потом откладывает книгу:

— Мало что лезет в голову; я всё думаю о вашем прорыве, на заводе.

Борис. — А чего там думать? Этим не можешь. Да и не мы одни. Николай прав — везде так.

Лиза. — Всё же это опасно. Ах, зачем ты согласился?

Борис (раздраженно). — Я же тебе не раз говорил, что не мог отказаться,

а ты всё "зачем" да "зачем"...

Стук в дверь прерывает его.

Лиза (шепотом). — Кто это может быть?

Борис. — Николай, наверно.

Идет к двери и отпирает. В комнату входят два человека в форме и штатский. Лиза в ужасе пятится к столу.

Человек в форме. — Вы Борис Павлов?

Борис. — Да.

— А вы кто?

Лиза. — Я его жена.

— Садитесь, мы сделаем обыск.

Борис и Лиза садятся у стола. Штатский остается у двери, а двое в форме обходят комнату. Закончив обыск, один поворачивается к Борису:

— Одевайтесь!

Лиза бросается к Борису и обхватывает его:

— Вы не смеете его брать. Он ничего плохого не сделал!

Человек в форме. — Не шумите, гражданка. (Борису). Одевайтесь!

Борис приподымается со стула, но Лиза его держит:

— Вы не смеете его брать, он ничего плохого не сделал!

Второй в форме подходит и, взяв Лизу за руку, оттягивает ее в сторону. Борис встает и, надев пальто и шапку, кладет в карман зубную щетку и мыло, а в другой — скрученное в трубку полотенце.

Человек в форме. — Идем!

Борис идет к двери, но Лиза вскрикивает и, вырвавшись, бросается к нему, крича:

— Он ничего плохого не сделал! Ничего плохого не сделал!

Второй в форме отталкивает Лизу и штатский, а за ним и Борис, в сопровождении человека в форме, выходят. Второй останавливается в дверях:

— Не шумите, гражданка! Соседей разбудите.

Он выходит и закрывает за собой дверь. Лиза стоит в оцепенении, потом хватается пальто и выбегает из комнаты.

На улице идет дождь и свет от углового фонаря отражается в лужах. Из дома выходит штатский, за ним Борис в сопровождении двух в форме. Они подходят к стоящему на углу черному крытому грузовику, когда из дверей выбегает Лиза и бежит за ними:

— Пустите его! Пустите!

Она подбегает, но человек в форме хватается за руку и останавливает:

— Тише, гражданка!

За это время другой подводит Бориса к грузовику и отпирает заднюю дверь:

— Влазь, чего там!

Лиза, оттолкнув державшего, подбегает, но дверь грузовика уже захлопнута и заперта за Борисом. Она стучит в железо и кричит:

– Борис! Борис!

Человек в форме (штатскому). – Можете идти!

Оба в форме садятся в кабину и заводят мотор. Лиза подбегает:

– Берите и меня с ним!

Человек в форме. – Не шумите, гражданка!

Лиза вскакивает на подножку:

– Берите и меня!

Человек в форме сильно раскрывает дверь, сбивая Лизу на тротуар. Шумя мотором, грузовик уезжает. Лиза остается лежать в воде, всхлипывая и повторяя:

– Борис, Борис...

АНТОН НИКОЛЬСКИЙ

Снежиночка — намек зимы,
летала в воздухе ночном.
Предвестник белой кутерьмы,
она порхала за окном.

А завтра — свежий солнца луч,
сбравшись из последних сил,
блеснув украдкой из-за туч,
в слезу снежинку превратил.

* * *

В сосновом солнечном бору
стоит высокий крест.
Там похоронен лесоруб —
в сосновом солнечном бору
рубивший раньше лес.

Шумит над ним высокий бор.
А где-то вдалеке,
стучит уже другой топор.
И тихо-тихо стонет бор
в задумчивой тоске...

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОЭЗИИ или ПОЭТИЗАЦИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ?

(О творчестве Иосифа Бродского)

В некотором роде Иосиф Бродский — явление времени, хотя наше время удивительно не сродни Иосифу Бродскому. Любимец диссидентской публики в СССР и сам диссидент по недоразумению, он получил известность, идущую от юридического скандала; менее всего праведник, он приобрел этот облик в качестве "жертвы режима", хотя весь его конфликт с советской властью был настолько миниатюрен, что только глупость "Софьи Владимировны" позволила этому конфликту обрести "глобальный размах". Образцовый представитель того типа, который составляет в истории литературы разряд *poetae minoraе*, он удостоился похвал, возводящих его в ранг "великого поэта".

Было бы несправедливо отрицать значение его творчества для нужд собственно поэзии, прежде всего, для ее, так сказать, технической отшлифовки. Достижения Бродского в этом плане столь же заметны, сколь и эклектичны; смесь мотивов и красок из Мандельштама и Пастернака, Цветаевой и Ахматовой, из литературной техники верлибра и ароматов неоклассицистской вычурности — всё это, может быть, и "престранная смесь", но ей нельзя отказать в какой-то прямой привлекательности. Его стихи обращены прежде всего не к читателям, а к собратьям по ремеслу, и Бродский не является великим поэтом в духе, как говорят, "органов эпохи", зато клавишином ее он, пожалуй, сделался. Вслушиваясь в музыку его творчества, вы не найдете в ней ничего бетховенского, вагнерианского, но — глядишь — менуэт Баккерини и услышится порой.

Едва ли не главным парадоксом творчества Бродского оказывается то, что он, пишущий на русском языке и даже прослышавший тонким ювелиром этого языка, по сути своей совершенно *не русский* поэт. Дело, разумеется, не в его происхождении. Мандельштам и Пастернак, Иосиф Уткин и Кирсанов были евреями, но в их принадлежности к именно *русской* стиховой культуре никто не усомнится. С Бродским — другое. Попробуйте забыть на миг всё, что вы знаете насчет биографии Бродского и лишь вчитайтесь в его стихи — эти однообразно моноложные (и даже в диалогичности все равно — *моноложные*) строфы из "Большой элегии (Джону Донну)", "Исаака и Авраама", "Горбунова и Горчакова", "Колыбельной Трескового Мыса" — и вы невольно должны признать, что эти стихи звучат по-русски как переводы — очень недурные, виртуозно выполненные; местами, по-видимому, вобравшие в себя почти все оттенки и смысловые нюансы оригинального текста, но все-таки *переводы*, а не стихи, рожденные в лоне

русского языка. Даже матерщина и более легкие вульгаризмы не спасают положения; довольно легко представить, что Бродский-переводчик позволяет себе находить эквиваленты тому, не ведомому для читателя, но хорошо известному для автора, оригиналу, который он мастерски имитирует по-русски. И его холодновато-рациональное, классицистски чопорное видение поэтического мира гораздо ближе к архаичным образцам староанглийских поэтов-метафизиков (типа того же Джона Донна), или средневековых испанцев (вроде Хорхе Манрике), или, наконец, к раскованной всеядности современного "свободного стиха", нежели к русской традиции. Порою Бродский добивается почти библейской силы звучания в нагромождениях описаний, метафор и густо наложенных красок; к слову сказать, *библейские* сюжеты ему удаются (например, "Исаак и Авраам") по-другому, нежели русским авторам еврейского происхождения, связанным все-таки с русской традицией в первую очередь. Вспомните "Гефсиманскую ночь" Н. Минского. Не говоря уж о том, что Минский избрал *евангельский* сюжет, он и разработал его в жанре традиционной русской поэмы. Семен Фруг, как известно, был теснейшим образом связан именно с библейской (ветхозаветной) тематикой, однако в кругу этих тем он совершенно идентичен по форме своим русским собратьям или хотя бы Надсону. Иосиф Уткин в поэмах "Милое детство" и в "Повести о рыжем Мотэле" обыгрывает и еврейский жаргон и тематику, однако эти его вещи укладываются в традицию русской поэтической манеры не менее естественно, чем, скажем, "Анна Снегина" такого, насковзь уж р у с а к а, как Есенин. А вот у Бродского в его "Исааке и Аврааме" от "русского духа" присутствует разве что семантическая игра с воображаемым алфавитом, где "У ветки "К" отrostков только два, а ветка "У" — всего с одним суставом" и где "По-русски Исаак теряет звук". (См.: Иосиф Бродский. Остановка в пустыне. Нью-Йорк, 1970, стр. 46-62). Последняя ремарка весьма символична. Бродский тоже теряет неуловимое "что-то" по-русски. Как автор "Исаака и Авраама" он кажется переводным поэтом не в силу избранного им сюжета и не по причине какого-то сверхформалистического эксперимента (его в поэме не так уж много), а по редкостной органичности вживания в библейский рассказ — вживания, которое заставляет воспринимать его чуть ли не как современника ветхозаветных героев, а не как интерпретатора их деяний со стороны. Подобную силу перевоплощения можно было бы назвать пушкинской, если б не абсолютное противостояние Бродского пушкинской пластике и не его — сознательную даже — ориентацию на *допушкинские* образцы в поэзии. Об этой ориентации свидетельствуют, впрочем, другие примеры, о коих мы еще упомянем.

Всё сказанное говорится отнюдь не в осуждение Бродскому. Апологетически настроенные критики его, в сущности, признают то же самое. Так, автор предисловия к "Остановке в пустыне", подписавшийся инициалами Н.Н., указывает на его стихи, "основанные на представлении о том, каковы стихи на Западе... — в виде развязных современных переводов с какого угодно языка". (Стр. 11). Н.Н., правда, считает, что подобные стихи характерны лишь для раннего Бродского; мы полагаем, что они вы-

ражают его специфику в целом.

Внутренняя несопричастность Бродского с русской стиховой традицией внешне выразилась (из-за сцепления случайных обстоятельств) в оппозиционности по отношению к советской официальной поэзии и даже к советчине вообще. После нашумевшего судебного процесса, на котором Бродский отнюдь не проявил себя героем, но выглядел безусловно вызывающей симпатию жертвой, родился миф (вернее, родилась одна из истемасей мифа) о Бродском как поэте-диссиденте. Совмещенное с другими гранями легенды (Бродский как поэт-метафизик; интеллектуал, поэт-продолжатель ахматовской традиции и т.п.), представление о "диссидентстве" Бродского как бы увенчивало образ гонимого и весьма масштабного во всех отношениях художника. Хвалить стихи Бродского в СССР было сертификатом модного "инакомыслия"; восторгаться им в эмиграции стало признаком хорошего тона хотя бы потому, что можно было всегда оптимистически-мажорно сделать вывод о его успехе как доказательстве истинного признания истинно талантливого человека. В таком примерно духе писал недавно Владимир Максимов, утверждая, что Бродский, "пожалуй, единственный из нас, кто, оказавшись на чужбине, уже подтвердил свою творческую стоимость... а это, на мой взгляд, свойство только подлинно великого поэта". ("Новый Американец", 5-10 июня 1980 г., стр. 8). Максимов, который привык мыслить в сфере литературных оценок по шкале осязаемо-видимых параметров житейского успеха, по-своему прав: признание заслуг Бродского стало почти конформистски узаконенной нормой в эмигрантской критике, отражая подспудно услужливый силлогизм "закона джунглей" о том, что другие "непризнанные" и "неудачники" суть просто малоталантливые люди. Конечно, будь Максимов поначитанней, он мог бы вспомнить мудрую сентенцию Марины Цветаевой из ее статьи "Поэт и время": "... признак современности поэта отнюдь не в своевременности его общепризнанности, следовательно не в количественности, а в качественности этого признания". (М.И.Цветаева. Несобранные произведения. Мюнхен, 1971, стр. 626). Однако требуя от Максимова знакомства с Цветаевой, мы начинаем искать у редактора "Континента" культуру *сверхконтинентального* уровня. Посему не будем докучать ему Цветаевой, а поверим на слово, что он хотя бы прочел всего Бродского.

Между прочим, одно из первых (и, прямо скажем, *пугающих*) ощущений при чтении Бродского — это ощущение скуки. Снобы, считающие своим долгом делать почтительную стойку при упоминании об "интеллектуальности" Бродского, никогда не сознаются в этом вслух, но про себя знают это и снобы. Позволим себе ударить по их снобизму словами Нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера: "Нет радости заскучавшим читателям и нет извинения скучной литературе..." (И.Башевис-Зингер. Нобелевская речь 8 декабря 1978 г. — "22", № 8, 1979, стр. 206). Это сказано о прозе, но сие вполне применимо, например, к описательным стихам Бродского.

В самом деле, когда вы читаете 40 строф "Речи о пролитом молоке" (в книге "Конец прекрасной эпохи"), там же — подряд 43 строфы из "Памяти Т.Б.", или, в той же книге, "Пенье без музыки" (62 строфы); когда

продираетесь сквозь зашифрованный смысл (а иногда и бессмыслицу) четырнадцати внушительных кусков "Горбунова и Горчакова" ("Остановка в пустыне"), то невольно можно придти к выводу, что в конце концов всё это слишком длинно и оттого попросту скучно. Искусство, конечно, ищет безмерного, однако и в этом искании должно быть чувство меры. Современная поэзия может освобождать себя от старых вкусовых критериев, но не ценой полной безвкусицы. Стихотворения могут быть большими, но горе поэту, когда его стихи называют *длинными*. "Евгений Онегин" Пушкина, "Рыцарь на час" Некрасова, "Ворон" Эдгара По или даже "Спекторский" Пастернака — *большие* поэтические произведения, но в скуке их никто не упрекает. Пушкин мог воскликнуть, что поэзия должна быть простовата, но ему — хорошо знавшему вольтеровское: "все жанры хороши, кроме скучного" — никогда не пришло бы в голову призывать к поэтической скуке. У Бродского же гигантомания его стихотворных натюрмортов — словно вызов читательскому долготерпению, и одна только констатация этого факта должна насторожить каждого беспристрастного человека, наслушавшегося криков о "величии" Бродского как поэта.

Но вот тут и начинается фокус мифотворчества. Любому поэту (или прозаику) растянутость обычно ставится в вину. Апологеты Бродского умудряются представить это в качестве его достоинства. В предисловии к "Остановке в пустыне" (стр. 9) Н.Н. пишет, что особенностью поэзии Бродского являются "длинноты и вообще, большой объем стихотворений. В коротких стихах он не успевает разговориться." — Краткость — сестра таланта, — так и хочется ответно прокомментировать сей пассаж.

В рецензии на две книги Бродского, помещенной в газете "Русская Мысль" (24 ноября 1977 года), Александр Бахрах, желая говорить "приятности", но в то же время и не слишком грешить против истины, писал: "Бродский тяготеет к большой форме, которой он еще не вполне овладел, и потому некоторые его более длинные стихотворения могут показаться растянутыми." Это сказано весьма деликатно, но по сути убийственно верно. Несмотря на всю метафорически-образную плотность и ассоциативную насыщенность стихов Бродского, они редко производят цельное впечатление, страдают длиннотами и плохо замаскированными трюизмами, бывая иной раз столь *водянистыми*, что это заставляет воспринимать заголовки их, типа "Речь о пролитом молоке", как ироническое самопризнание.

Предвидя возмущение апологетов Бродского и снобов, хочу процитировать строфу 28 из "Речи о пролитом молоке":

"Я не воспитывался на софистах.
Есть что-то дамское в пацифистах.
Но чистых отделять от нечистых —
не наше право, поверьте.
Я не указываю на скрижали.
Цветные нас, бесспорно, прижали.
Но не мы их на свет рожали,
не нам предавать их смерти."

(Иосиф Бродский. Конец прекрасной эпохи. 1977, стр.13).

Помнится, когда я впервые прочел это, меня поразила ритмико-логическая близость строк Бродского с чем-то, читанным очень давно и отбрасывавшим на эти строки иронический отблеск — совсем не тот, которого хотелось бы Бродскому. И я припомнил известный "монорим" Апухтина:

"Когда будете, дети, студентами,
Не ломайте голов над моментами,
Над Гамлётками, Лирами, Кентами,
Над царями и президентами,
Над морями и континентами...
Не якшайтесь вы с оппонентами,
Поступайте хитро с конкурентами,
А как кончите курс эминентами
И на службу пойдете с патентами, —
Не глядите на службе доцентами,
И не брезгайте, дети, презентами."

Апухтина не наделяют эпитетами, которые наклеивают на Бродского, однако даже в данном сопоставлении Апухтин выигрывает. Его "монорим" — это шутовское стихотворение; в нем не грех рифмовать "патенты", "доценты", "презенты". У Бродского, несмотря на всегдашнюю его ироничность, "Речь о пролитом молоке" ведется *всерьез*, и здесь рифмы типа "софисты — пацифисты", "прижали — рожали" суть просто *неважные рифмы*. (И таких рифм в длиннущей "Речи" сколько угодно!). Интересно, как снобы, восхваляющие Бродского за "утонченность" его стихов, не замечают этого?

Они, впрочем, не замечают и унылые повторения одних и тех же образных приемов в различных стихотворениях своего кумира. ("Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд" — "Остановка в пустыне", стр. 44, и "засверкает лошадиный изумруд" — Там же, стр. 72; "толпа деревьев в деревянной раме, как легкие на школьной диаграмме, объята сном." — "Конец прекрасной эпохи", стр. 66; "Голые деревья, как легкие на школьной диаграмме" — там же, стр. 69; в стихотворении "Кафе "Неринга" — "подавальщица в кофточке из батиста перебирает ногами, снятыми с плеч местного футболиста" (Там же, стр. 103), а в стихотворении, посвященном Л.В.Лифшицу, сам Бродский жалуется, "что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи" — там же, стр. 107). Прямо скажем, подобные примеры — свидетельства не очень яркой поэтической изобретательности.

Порою стихи Бродского бывают настолько аляповато-манерны, что это отдает уже какой-то "бенедиктовщиной", что ли. Вот кусок из стихотворения "Был черный небосвод...":

"Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла."

Так черен, как деревья впереди.
Как место между ребрами в груди.
Как ямка под землю, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно."

("Остановка в пустыне", стр. 33).

Эта пародийная "чернопись" напоминает детскую присказку: "В черном-черном лесу стоит черный-черный дом; в этом черном-черном доме стоит черный-черный стол; на этом черном-черном столе стоит черный-черный гроб..." ну, и так далее. Только (перефразируя толстовское — в адрес Леонида Андреева) — Бродский пугает, а нам не страшно...

А вот уже нечто — не на уровне Бенедиктова даже, а сравнимое, пожалуй, с Алексеем Сурковым:

"Холмы — это наша юность.
Гоним ее, не узнав.
Холмы — это сотни улиц.
Холмы — это сонм канав..."

Холмы — это наши страдания.
Холмы — это наша любовь.
Холмы — это крик, рыдание,
уходят, приходят вновь...

Холмы — это вечная слава..." (Там же, стр. 42).

Прочтешь такое и... Я уж не говорю о том, что рифмы "страдания — рыдание", "любовь и вновь" достойны Эдуарда Асадова и его поклонников, но сами по себе строение стиха, его ритмический рисунок куда как похожи на: "Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет..." Вот вам и новатор-экспериментатор Иосиф Бродский!

Однако я мысленно слышу негодующие голоса его почитателей. — Уж вы договорились! Почти что официозным советским поэтом Бродского сделали. Полнейшая чепуха и ложь!.. — Отвечу: официозный — не официозный, но если говорить об этой сфере, то у Бродского (в общем аполитичного поэта) "советчины" в его *политическом* восприятии вполне достаточно. Постараюсь доказать это на примере известного стихотворения — "На смерть Жукова". (См.: "Часть речи", "Ардис", 1977, стр. 44-45).

В формальном отношении оно написано как стилизация под державинского "Снигиря". Внутренняя фальшь начинается уже с этого: если поэтика заставляет вспомнить Державина, то тематика — Суворова. Однако Жуков — не Суворов; он гораздо менее индивидуален как личность. Вопреки Бродскому, он и не Ганнибал ("блеском маневра о Ганнибале напоминавший среди волжских степей"). Никто не отрицает определенных военных дарований Жукова, но он (как и большинство советских маршалов) брал победы, как правило, не "блеском маневра", а *большой кровью*, той чисто сталинской бесцеремонностью в отношении количества людских потерь,

которую не могли позволить себе западные генералы и даже генералы нацистского вермахта. Посему восхваления *чисто военных* талантов советских полководцев всегда немного двусмысленны. "Пламенный Жуков" — как характеризует его Бродский, не составляет исключения и недаром у поэта возникает вопрос: "Сколько он пролил крови солдатской?"

Но в целом, Жуков у Бродского — фигура вполне симпатичная. Он и "родину спас", и служил "правому делу". Для конформистски-советского мышления подобные оценки естественны. Но Бродский!.. Поэт-диссидент!.. Неужто даже в эмиграции не разобрался, что победа Сталина во Второй Мировой войне отнюдь не безусловно "правое дело"? И что спасение *советской* родины принесло огромное число страданий русскому народу и народам многих других стран. К этому Жуков свою "десницу" приложил — сомневаться не приходится, однако стоит ли "диссиденту" Бродскому писать в честь его панегирик? Даже правило "о мертвых — только хорошее" не меняет сути дела: конформистская советчина, лежащая в основе стихотворения Бродского, заставляет лишний раз усомниться в его "диссидентстве".

Но, опять-таки, предвижу негодование апологетов Бродского. — Разве Бродский историк? — могут спросить они. — Он создает поэтический образ и судить его надо по законам поэзии, а не копаясь в исторических деталях. Даже если реальный человек отличается от того Жукова, каким он предстает в стихотворении, что с того? Бродский имеет право на свое собственное поэтическое видение истории и ее персонажей. Было бы нелепым педантизмом требовать от поэта, интерпретирующего историю и политику, наукообразной точности восприятия... — Конечно, — отвечу я. — В подобной аргументации есть *общая* истина, однако она не применима к Бродскому в данном случае. Ведь нам все уши прожужжали, что Бродский — не просто поэт, а глубоко *интеллектуальный*, да к тому же еще оппозиционный в отношении советского режима художник. А раз так, то с него и спрос особый.

Разве интеллектуальность не подразумевает наличие эрудиции, образованности, историко-философского чутья и вкуса? Разве эти качества не производят поэтического эффекта? Между тем, во многих стихах Бродского они поразительно лимитированы. Обратимся хотя бы к его "Двадцати сонетам к Марии Стюарт" ("Часть речи", стр. 51-60).

То, что сонетная форма вообще плохо удастся Бродскому, признают даже его поклонники (см. предисловие Н.Н. к "Остановке в пустыне", стр. 9). Но дело даже не в том, что Бродский часто повторял ошибку, на которую в свое время блестяще указал Теофиль Готье, когда он в предисловии к "Цветам зла" Бодлера посоветовал любителям т.н. "вольных сонетов" или подчиняться правилам сонетной поэтики, или, если они хотят "вольничать", просто-напросто сонеты не писать. В цикле, посвященном "Марии Стюарт", Бродский продемонстрировал редкостную "нестильность" в плане подключения к истории: образ шотландской королевы (даже в том "киношном" воплощении, коим он вдохновлялся) фатально несозвучен ему. Матерщина, приклатненный жаргон, плоские сентенции, которые не дела-

ются глубже от привлечения теней Шиллера и Эдуарда Манэ, или перефразировок из Тютчева и Пушкина, — вот "стилевая оснастка" стихотворений "мариястюартовского" цикла. Для того, чтобы заключить сонет № 5 репликой: "В своем столетьи белая ворона, для современников была ты блядь" (стр. 53), не стоило раздражаться сонетом. Для того, чтобы задать риторический вопрос Шиллеру ("ему-то вообще какое дело, кому дала ты или не дала?"), надо было плохо Шиллера прочесть, и если смысл шиллеровской трагедии "Мария Стюарт" сводится для Бродского к данному вопросу, то это печальный факт биографии Бродского, а не Шиллера. "Никто не прокричал тебе Атас!" (стр. 56) — жалуется Бродский, обращаясь к своей героине, которой современники, по его словам, "заделали свинью" (стр. 58), и забывая, что в ее время и в ее стране были, конечно, свои вульгаризмы, но столь гнусного жаргона еще не изобрели. "Шотландия нам стала бы матрас" (стр. 54) — косноязычно мечтает он о своей "Прекрасной Даме", у коей "Бесстыдство! Как просвечивала жэ!" (Стр. 57). Неудивительно, что Бродский плохо понял Шиллера. Каждому своё: у немецкого поэта в его трагедии светится большая женская *Душа*; для Бродского всюду "просвечивает жэ". Уж не эту ли вульгарность мышления имел в виду Алексей Лосев, когда усматривал в Бродском "исключительную интимность отношения" к истории, "вплоть до полного с ней самоотжествления"? (А. Лосев. Иосиф Бродский. Предисловие. — "Эхо", № 1 (9), 1980, стр. 24). Лосев, правда, относил это к *русской* истории, но и на ниве шотландской тематики Бродский сумел так "самоотжествиться", что, пользуясь его же оборотом из сонета № 17, непредубежденного читателя от таких сонетов "склоняет к мату". (В другой статье Лосев утверждал, что Бродский "искусно надевает на себя маску... пошляка". — "Континент", № 14, 1977, стр. 326. — Действительно, очень искусно...).

В литературе есть немало классических образцов сонетно-исторической живописи: "Трофеи" Хосе Мариа де Эредиа, многие сонеты нашего Брюсова; из эмигрантской поэзии можно упомянуть в этом ряду блестящий венок сонетов Валерия Перелешина "Крестный путь" (В. Перелешин. Качель. "Посев", 1971, стр. 75-84). Им присущи такие качества, которые никоим образом не отыщешь у Бродского: гармония красок и образов, стилизация верность эпохе, вкусовая завершенность, пластика поэтического слова. Могут возразить, что *модернист* Бродский и не стремился имитировать эти признаки традиционной поэтики. Может быть! Но и модернистское видение не обязательно предполагает стилистический разнобой, тривиальность мысли, неряшливость выполнения. Всего вероятнее можно заключить, что сюжет Марии Стюарт так же противопоказан Бродскому, как и сама по себе сонетная форма.

Не хватает ему и образованности в строгом смысле слова. Он много читал, но нередко производит впечатление неначитанного человека. Повидимому, есть у Бродского комплекс сродни горьковскому. Как тот, несмотря на "Мои университеты", очень "болеет", что настоящего университета не кончил, так и Бродский этим болеет. Посему Горький пичкал ненужной эрудицией своего "Клима Самгина", а Бродский берется за арха-

ично-экзотичные сюжеты, зачастую справляясь с ними неважно.

В книге "Часть речи" к сонетам о Марии Стюарт примыкает "Мексиканский дивертисмент". Этот цикл, пожалуй, рангом выше, но общее впечатление какой-то вялой необязательности стихов, их неряшливости, маскирующейся в иронию, не дает возможности говорить о поэтической удаче. "Насытишь взгляд, но мысль не удлинит" — хочется сказать словами самого Бродского (стр. 63). И, думается, такое ощущение мотивировано не только "Мексиканским дивертисментом", но и всем творчеством поэта. Именно *мысли* ему недостает, и она не возникает сама собой из-за накладывания образных красок, из игры метафорами и тех назойливо-длинных *подступов к теме*, которые в стихах Бродского очень часто *темой* так и не разрешаются. На первый взгляд, всё в его поэзии кажется пусть не слишком бурным, но все-таки *процессом* творчества, вовлекающим читателя в лабораторное нутро этого процесса. Однако в сущности стихи Бродского на редкость статичны и лишь маскируются под динамику. Им не хватает, так сказать, антропологического начала, и хотя героями его многих стихов выступают люди, подлинная страсть Бродского — вещизм, застывшая картина, фиксированное мгновение, натюрморт. Сами его персонажи, как правило, даны в таком ракурсе, когда в них видится не характер, а своего рода чертёж — словно изображение человека на кубистической картине. Проникновение в человеческую душу не есть задача Бродского; изобразить душу в виде какой-нибудь *неодушевленной* детали для него куда интересней. В одном из ранних (1962 г.) стихотворений Бродского есть такие строки: "Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным." ("Остановка в пустыне", стр. 77). Именно так: для Бродского всего важнее не человек, а нечто вроде "одушевленного буфета". Воинствующий статик в своих стихах, он если и демонстрирует динамичность, то разве в виде своеобразного "фокуса-покуса". — например, в желании "одушевить" буфет.

В этом плане еще показательней большое стихотворение 1971 года "Натюрморт" ("Конец прекрасной эпохи", стр. 108-112). Самопризнания лирического героя "Натюрморта" очень характерны: "Я не люблю людей", "Вещи приятней. В них нет ни зла, ни добра"... Затем следуют образ *буфета*, видимо, преследующий Бродского, и умозаключение, обнаженность коего умеряется разве что его вульгарностью:

"Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь
не крикнет: "Ебёна мать!"

(Стр. 111).

Конечно, не крикнет — согласимся мы с Бродским. Мог бы и он не кричать матом, по крайней мере в стихах. Ведь концовка строфы совсем не обязательна по своей смысловой и стилистической функции. Когда Маяковский заключал свое раннее стихотворение эпатирующим: "Я лучше в

баре блядам буду подавать ананасную воду!" — его оправдывали и экспрессия выражения, и смысл, и, если угодно, эвфония стиха. Когда у Толстого Катюша Маслова бросает то же слово в лицо Нехлюдову, — на употребление его есть мощнейшее смысловое оправдание. У Бродского же трудно обнаружить что-либо, кроме наивного стремления сказать "поэтическую дерзость", и безвкусица его вульгаризмов является самоочевидной. (То же самое относится к оборотцам вроде: "Пусть КГБ на меня не дрожит" (стр. 15), "Это мне — как серпом по яйцам" (стр. 16) — оборотцам, о коих А.Бахрах в "Русской Мысли" стыдливо писал, что они "редко когда коробят, хоть их никак не причислить к "лучшим словам". Верно, не причислить, равно как и стихи Бродского, замешанные на соответствующем жаргоне, не причислишь к литературным шедеврам.

Впрочем, наша "антиматовая" бутада — это некоторое отступление в сторону. Вернемся к "вещизму" Бродского, а точнее, к связанному с этим "вещизмом" вопросу о герметичности его поэзии. Она очевидна как для самого поэта, так и для его критиков: певец вещей и "вещности", Бродский обречен на то, чтобы оставаться "вещью в себе", которую расшифровать языком рационального анализа нельзя. В лучшем случае возможно "вживание", "вчувствование" в его поэзию, зависящие от симпатий или антипатий к ней.

А.Лосев довольно справедливо заметил, что "эзотеричность, равно как и многозначительность, нетрудно фальсифицировать." ("Эхо", 1980, № 1, стр. 29). Томас Венцлова смотрит на стихи Бродского "как на часть того шифра, который... посылает жизнь" ("Новый Американец", № 15, май 1980 г., стр. 9). Польский переводчик Бродского Станислав Баранчак находит в его текстах "что-то вроде огромной головокружительной головоломки". (С.Баранчак. Переводы Бродского. — "Континент", 1979, № 19, стр. 360). Всё это — типичные ощущения, вызванные "герметизмом" творчества Бродского, его самодовлеющей в-себя-погруженностью. Бродский — не центр созданной им поэтической системы; он замкнутое пространство, целиком ориентированное на собственный шифр поэтического видения. Он не задумывается над оправданием или разъяснением этого шифра; напротив, чем более шифр эзотеричен, тем больше для него он художественно оправдан. Ясность и смысловая четкость — едва ли не антиподы самого понятия "поэзия" для Бродского; он, как заметил Иван Елагин, и характерен "нарочитой разобщенностью смысловых связей" ("Новый Американец", май 1980 г.). Поэтому читатель Бродского не может оказаться в положении его собеседника, как, допустим, читатель усложненного, но поддающегося смысловой расшифровке Пастернака. Бродский — не интеллектуальный поэт, адресующийся к интеллекту читателей; он — шаман поэтических метафор и заклинаний, которые должны вызвать что-то вроде встречной глоссолалии у читателей. А уже потом, включившись, так сказать, в "игру" и замороженные ею, они смогут подобрать "интеллектуально звучащие" доводы для оправдания его герметичности.

Оправдывать же ее ой как нужно! Добро бы шла она от мысли, от философской погруженности, скажем. Но — вопреки мнению апологетов Брод-

ского — в его стихах — не метафизика, а *метафизика*, если можно так выразиться. Он вводит бесконечное число философических намеков на нечто, но само это "Нечто" в его стихах не обнаружить. Нарочитая затуманенность его сентенций предполагает многозначность их прочтения, но проverka "вдумыванием" эти сентенции не выдерживают. Попробуйте разобрать его "поэзо-метафизические" силлогизмы именно как силлогизмы — ничего не выйдет; останется не мысль, а просто звонкое слово, афоризм с претензией или претензия на афористичность. Вот, к примеру, строки из его сугубо медитативного стихотворения "1972 год" ("Часть речи", стр. 27):

"Бей в барабан о своем доверии
к ножницам, в коих судьба материи
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу."

Кроме изысканной составной рифмы ("материи — потери и"), особого поэтического изыска здесь не найдешь. Ключевой и "ударной" является, конечно, фраза: "Только размер потери и делает смертного равным Богу", и она столь же старательно зашифрована, сколь и пустовата. Казалось бы, смысловое богатство налицо; можно предложить десятки толкований этой сентенции: "величина человеческих потерь столь огромна, что именно в огромности этой человек равен Богу"; "Бог для человека — такая величина, которая может быть измерена лишь бесконечностью, а раз он мыслит себя равным Богу, значит его потери суть бесконечность, а сам он — ее владелец, т.е. Бог"; "человек обречен на потери, и главная потеря его — Бог; потеряв Бога, он сравнялся с ним" и т.д. Подпустите сюда Алексея Лосева — он и не такое еще накрутит (как — ответно — может накрутить Бродский в отношении Лосева — произвел же он его на страницах "Континента" в "Вяземского нашего времени"!)). Но это будет именно *накручивание*, пустое суесловие и умничанье. Ибо, строго говоря, *смысловое* толкование сентенции Бродского не нужно — она живет своим напевом и намеком, который ничем не разрешается, кроме "что не выскажешь словами, звуком на душу навеи". Но метафизической глубины здесь нет; в строго софистической игре понятий, которую можно затеять, если принять Бродского слишком всерьез, равно доказуемы тезис о том, что "размер потери делает человека равным Богу", как и утверждение, что именно размер ее отличает человека от Бога. (Это уж не говоря об ослабленных и промежуточных вариантах доказательства). Итак, афоризм Бродского лишается одного из главных качеств, придающих цену афоризмам: силы изначальной определенности типа тютчевского "Мысль изреченная есть ложь". (Афоризм Тютчева куда как богат оттенками смысла, но все они развивают и отшлифовывают его, а не затемняют, как в случае Бродского. Тютчев идет от глубины сказанного; Бродский пытается придать сказанному глубину). И тут мы сталкиваемся с тем фактом, что герметичность в искусстве — понятие не одноплановое.

Обычно ее понимают как простую зашифрованность. Однако понимать ее *только так* равнозначно, например, сведению символа к аллегории. Меж-

ду тем аллегоричность в символике акцидентальна; ее может не быть совсем, а символ останется. "Синяя Птица" Метерлинка, "Ворон" Эдгара По или "Потонувший колокол" Гауптмана суть символические аллегии; Гамлет и Дон-Кихот – это символы сами по себе, а Сервантес, скажем, по своему очень "герметичный" автор, если понимать это слово как эквивалент многозначности, дающей возможность при анализе ее извлекать всё новые и новые толкования смысла, который до конца так и не будет исчерпан. Это, если угодно, – *открытый, экзотеричный* герметизм, рассчитанный на диалог и общение. Он противоположен эзотерической герметике в поэзии, например, Гонгоры, а именно к этой линии развития примыкает Бродский. Его герметичность поэтому подобна аллегии в соотношении с символом; она очень камерна и локализована в себе.

Кафкиански-болезненная зашифрованность творчества Бродского приводит к тому, что апологетические интерпретаторы анализируют не столько его поэзию как таковую, сколько свои – тоже довольно "герметичные" – ощущения, которые они испытывают, либо принуждают себя испытывать. В результате бедный читатель, рискнувший поверить критикам Бродского, чаще всего получает под видом литературоведческого разбора совершенно произвольное нанизывание ассоциаций, столь же туманных и уводящих в сторону от прямого смысла слова или точного образа, как и многие метафоры самого Бродского.

Герметичность, таким образом, двоятся и удваивается. Сначала ее поэтизирует сам Бродский, сделавший из своей нелюбви к точности образа и к стихотворной пластике некую "антипоэтику", где многословная расплывчатость и угловатость становятся исходными "эстетическими" критериями; а затем в работу включаются критики типа Лосева, которые дополнительно "поэтизируют" *всякую уже* зашифрованность, *всякую* многословность, оказывая обратное влияние и на самого Бродского, и на простых читателей. Эти последние, мучаясь своим непониманием слишком уж зашифрованных стихов, начинают винить самих себя за недостаток эрудиции, позволяющей "дешифровать" стихи. Тут очень кстати и оказывается Лосев: эрудиция у него, несомненно, есть, и своими комментариями к Бродскому он заставляет читателей отбросить "крамольные" сомнения, которые то и дело лезут им в голову: а что если многословность есть ничто иное, как водянистость? Что если нежелание Бродского сосредоточиться на теме является каким-то пороком его дарования, а отнюдь не таинственной "метафизичностью" лирики? Что если он не способен на большее, чем отдельные, чисто технические достижения своей, очень камерной поэзии, которую, возможно, и стоит воспринимать именно так – в качестве камерной, а не переводить ее в категории дантовского масштаба? Имея в виду, что Бродскому уже сорок лет, а сороколетье, как удачно сказал Евтушенко, – "строгая пора", подобные вопросы можно поставить со всей строгостью.

Но Лосев и ему подобные апологеты Бродского витийствуют над головами колеблющихся и сомневающихся. Даже признавая его поэтические грехи, они тут же отполировывают их критической суконкой и – глядишь! – грехи эти подкрашены на уровень "достижений". В большой статье А. Ло-

сева "Ниоткуда с любовью..." ("Континент", 1977, № 14, стр. 307-331) сначала, вроде бы объективно, отмечаются недостатки Бродского ("У Иосифа Бродского есть стихи, которые тяжелы, сухи и рассудочны". – Стр. 309; "Приобщения читателя к таинству не получается" – Там же; "...Малоодушевленная риторика свойственна длинной элегии "Памяти Т.Б." – стр. 310 и ею он "не умножил число своих трагических шедевров" – стр. 311). Но высказав всё это, А.Лосев начинает апологетически накручивать одну неправду за другой. Я уж не говорю о мелочах, но им даются, так сказать, *тезисные* пункты совершенно произвольной и фактически не доказуемой трактовки творчества Бродского. Вот некоторые из них: 1/ Бродский – "христианский поэт"; 2/ стихи Бродского "очень интересны повествовательным мастерством" (стр. 319); 3/ Бродский – поэт мысли; 4/ "В генеалогии мировой поэзии Иосиф Бродский – отпрыск основного ствола" (стр. 323).

Детальное опровержение всех этих тезисов могло бы сделаться темой отдельной статьи. Постараемся быть краткими. Из факта наличия у Бродского христианских ассоциаций нельзя делать вывода о том, что он – христианский поэт. Сам Лосев признает наличие в его творчестве "ветхозаветно-иудейского" корня (стр. 313), и он, как в смысловом отношении, так и в общей тональности, гораздо характернее для творчества Бродского, нежели эпизодические "вкрапления" христианства. Да и в конкретной аргументации по этому вопросу Лосев нет-нет, да и проговаривается. Желая доказать христианскую "ориентированность" Бродского, Лосев указывает на его связь с традицией римской поэзии, которая "непосредственно предшествует возникновению христианства". Однако *предшествовать* христианству не значит *быть* христианством, и аргумент Лосева падает сам собой. Столь же шатки его старания обосновать христианский характер творчества Бродского экзистенциалистскими настроениями, которые-де свидетельствуют о мотивах страдания, а последние, мол, равны христианству... ну, и так далее... Лосев совершает софистический перевертыш в логике, когда, указав на связь мировоззрения Бродского с Кьёркегором, усматривает в этом "основы христианской этики" (стр. 313). Однако если Кьёркегора можно вывести из Христа, то Христа из Кьёркегора выводить не стоит. В данном случае перемена слагаемых весьма меняет конечную сумму...

Доказательства того, что стихи Бродского "повествовательно интересны", практически отсутствуют в рассуждениях Лосева. И неудивительно! Можно ли совместить признание "длиннот", "растянутостей" и т.п. с понятием непосредственного читательского интереса? С точки зрения этого последнего, наиболее удачной вещью Бродского является, пожалуй, поэма "Посвящается Ялте", но она как раз наименее характерна для манеры Бродского в целом.

О том, что Бродский – не поэт мысли, а его интеллектуализм достаточно поверхностен, мы уже говорили. Констатация этого факта рушит и утверждение Лосева о привязанности его кумира к "основному стволу" мировой поэзии. Напротив, Бродский – это художник переходностей, преме-

жуточных сцеплений, лабораторно-экспериментальных поисков; поэт своеобразного, но не слишком большого и глубокого дыхания. Конечно, при всем отталкивании от традиций, у него есть и свои привязанности к традициям (в частности, при явном неприятии Пушкина и его пластики, стилизаторская ориентация на восемнадцатый век в русской поэзии), но это именно связь не с "основным стволом", а с Хитрыми ответвлениями, причудливыми гибридами, кунштюками своего рода.

— Что же остается на долю Бродского? — могут воскликнуть его поклонники. — Вы видите в нем сплошные недостатки, но ведь есть же у него и достоинства! — Разумеется, есть, — отвечу я. — И даже немалые. Хотя они всё же и не столь велики, чтобы провозглашать Бродского "великим поэтом" (во всяком случае, преждевременно), они налицо: стилизаторская изобретательность, метафорическое богатство, умение найти, развить и варьировать плотную образно-компаративистскую ткань стиха, множество ритмических и рифмовых открытий — все эти качества в активе Бродского. И пафос нашего анализа лежит не в стремлении как-то "принизить" поэта, а в попытке определить его подлинное место в русской поэзии, одновременно опровергая надуманные истолкования его творчества и попытки создать вокруг него культ "не по рангу". Даже с Лосевым мы кое в чем согласны. Например, с тем местом в статье "Ниоткуда с любовью...", где он констатирует, отмеченный нами независимо от него, "вещизм" Бродского ("еще никто так не описывал человека — *как вещь*" — стр. 316).

К слову сказать, именно эта особенность поэзии Бродского подчеркивает лишний раз, что он не христианский поэт, а скорее уж языческий. Мнительная любовь к вещи и сравнительно малая заинтересованность в человеке — это, конечно, не атрибуты христианского мышления. "...Внешняя сторона жизни значила для меня больше, чем содержание", — признается Бродский в прозе ("Эхо", № 1, 1980, стр. 11), а в стихах... —

"Вот оно — то, о чем я глаголаю:
о превращении тела в голую
вещь! Ни горé не гляжу, ни долу я,
но в пустоту — чем ее ни высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса
вещи не свойственно. Так что лужица
подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти."

("Часть речи", стр. 27)

Настойчивые повторы "вещных" примет и образов рассыпаны и в других стихотворениях Бродского с какой-то навязчивой последовательностью. В то же время фигуры людей у него деформируются, расплываются, просто исчезают. Говоря его строками из "Декабря во Флоренции": "Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца, петли, клинышки букв..." ("Часть речи", стр. 112). В лучшем случае — "Человек приносит с собою тупик в любую точку света" (Стихотворение "Иорк" — "Континент", 1977,

№ 13, стр. 136). Нет, кажется, более метафизичных понятий, чем "время и пространство", но Бродский настолько *не метафизик*, настолько *вещественно* конкретен, что даже имея дело с этими понятиями, стремится их "материализовать". Время у него стачивает всё *личное*, "чтобы кончить цикладской вещью без черт лица" ("Строфы" — "Континент", 1978, № 18, стр. 118). Пространственная перспектива вызывает мысль, что "...вообще пространство тела из виду есть со стороны пейзажа дальности меры" (Там же). Неудивительно, что при таком "пространственно-временном" видении, когда исчезает всё, а категории вечности преломляются сквозь синтезированный "вещизм", можно придти к жизненным выводам, наподобие следующего:

"Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба.
И географии примесь
к времени есть судьба."

(Там же, стр. 119)

Как видим, "вещь", "пейзаж", "география", а не "лицо", не "тело" (тем более, не душа), статически торжествуют в стихах Бродского. Сумрачность, тень, неподвижность, а не движение и свет, определяют его настрой как живописца застывших плоскостей, углов и скрещений. Словно заклиная себя и окружающий мир, твердит он, что "вещь выпадает из миропорядка слов"; "вещь есть пространство, вне коего вещи нет". И — наконец:

"Вещь. Коричневый цвет
вещи. Чей контур стёрт.
Сумерки. Больше нет
ничего. Натюрморт."

("Конец прекрасной эпохи", стр. 111 и 112)

"Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь!" — восклицал Маяковский. — "Мне опротивел свет", — лапидарно заявляет Бродский (Там же, стр. 108). Никто не требует от него натужного оптимизма в стиле Маяковского (чье самоубийство в конце концов показало, что он был не ахти каким и оптимистом), однако тотальная мрачность Бродского не кажется глубоко мотивированной. Поэт он не столько философский, сколько *философствующий* (примерно как Евгений Винокуров на фоне Леонида Мартынова, если пользоваться аналогиями в советской литературе). Особенно глубокой концептуальности, из коей проистекало бы его творчество, мы не находим; скорее наоборот — простой творческий поиск (число стихотворный) он обряжает в костюм концепций, боясь, что "лабораторность" сама по себе, без ее подкрашивания философической многозначностью, недостаточна для реноме *интеллектуального* поэта. В его форсированном пессимизме литературной *позы* куда больше, чем мировоззренческой *позиции*. В этом он напоминает ранних декадентов конца XIX века — только без их "иммортелей", "поникших лилий", "фиолетовых рук на

эмалевой стене", "орхидей" и прочих красот. Последние заменены "одушевленными буфетами", "натюрмортами", мистикой "вещизма". В сущности, поэзия Бродского апеллирует скорее к читательскому глазу, чем к его слуху. Все эти *названия* предметов, равно как и настойчивое описательство деталей с разных сторон и ракурсов, призваны создать живописный сюрреалистический эффект, и сам Бродский говорит (в "Части речи"), что "только для звука пространство всегда помеха: глаз не посетует на недостаток эха". (Стр. 63). Именно так: на *эхо* его стихи, герметически погруженные сами в себя, не рассчитаны.

Но чем же все-таки объяснить, что он имеет свою публику и что немалое количество людей (вполне или не вполне искренне — это другой вопрос!) называет его "лучшим русским поэтом современности". Характерно, что и в западных литературных кругах его воспринимают с большим почтением. Думается, на это есть любопытные социально-психологические причины.

Прежде всего — дурной снобизм бывших советских интеллигентов и "образованцев". Это они в свое время захлебно участвовали в дискуссиях типа "физики и лирики", превозносили дозволенный властями СССР (наконец-то!) импрессионизм, постигаемый на основе статей Эренбурга и малой толики репродукций с картин Ренуара и Гогэна. Они в спорах, перемежавшихся песенками Окуджавы, дискутировали, кто более "модернен": Евтушенко или Вознесенский? Они упоенно смаковали западные аперитивы не потому, что предпочитали их отечественной водке, а потому, что прочли о них в романах Ремарка. На уровне этих "глубин", в качестве прямого дополнения, возникал непонятный, но тем более влекущий к себе Бродский. Вспоминали о его процессе, о бедной Вигдоровой, которая записала стенограмму суда и вскоре умерла, о том, что Бродского, вроде бы, благословила Ахматова и т.д. Короче говоря, Бродский становился аксессуаром расхожего штампа представлений, которые впитывал средний интеллигент, "гордящийся стандартным набором скверных книг с репродукциями, увешивающий стены своей квартиры модными (обязательно модными в данный момент) картинками (отстать от моды, впасть в нежелательный "изм" — страх этот, как дамклов меч, висит над головами как зрителей, так и художников модерна), этот интеллигент убежден, что любит и понимает искусство. На самом деле он его ненавидит и боится." (Иосиф Якерсон. Художник об искусстве. — "22", 1978, № 8, стр. 217).

Переехав на Запад, бывшие советские снобы формально перестали быть "советскими", и "снобировать" начали несколько по-иному, но психология их восприятия явлений искусства не изменилась. Спортивно-потребительский элемент, смешанный с желанием "быть на уровне", по-прежнему определял их эмоции. Бродский пришлось очень кстати этому *nonkonформистскому конформизму*; ведь согласно расхожему представлению, он "возводит современную русскую поэзию в сан мировой поэзии", "сообщает ей качества, необходимые для достижения уровня мировой" (Н.Н. — Предисловие к "Остановке в пустыне", стр. 7). Сие, между прочим, в определенной степени верно. Но вопрос заключается в том, так ли уж хорош

"стандарт" мировой поэзии (с "верлибром", например) для *русской* поэзии с ее неисчерпаемым богатством других возможностей? Стоит ли ее стерилизовать во имя соответствия тем образцам, о коих Пушкин некогда спрашивал: "что если это проза, да и плохая?" Бродский много сделал для стандартизации и "вестернизации" русского стиха; в известных пределах это даже не грех, но делать сие "генеральной линией" значит завести русский стих в тупик. Характерная деталь! Станислав Баранчак вспоминает в своей "континентовской" статье (№ 19, стр. 349), что после того, как он перевел на польский язык "Большую элегию Джону Донну" Бродского, имея перед собой самиздатскую копию стихотворения, он "несколькими годами позднее, читая книгу Бродского... с ужасом обнаружил, что в... переводе не хватает двадцати последних строк: очевидно, в самиздатском тексте оригинала, переходившем из рук в руки, потерялась страница." Лучшего признания факта необязательности, эмоционально-смысловой расхлябанности стихов Бродского не придумаешь. Оказывается, стихотворение (считающееся одним из лучших у Бродского) можно оборвать в любом месте и вы даже не почувствуете его незавершенности. Вот вам и возведение "в сан мировой поэзии"!.. Думается, что читая стихотворение Пушкина или Мицкевича, где по каким-то причинам вдруг недостает концовки, вы сразу сможете ощутить что-то неладное...

Как известно, с 1972 года Бродский оказался на положении эмигрантского автора. Это не могло не подстегнуть его "герметичность". Сама по себе жизнь эмигрантских поэтов, при наличии узкого круга читателей, всякого рода комплексов и литературно-политической грызни, развивает тенденцию к замыканию в себе, к воображению собственной личности эта-ким центром мироздания, вокруг которого вертится всё остальное. (Кто имел дело с эмигрантскими поэтами, тот хорошо понимает, что словечко "центропулизм" является не только иронической гиперболой). Бродский оказался типичным в амплуа эмигрантского автора, если говорить о его индивидуалистических склонностях и манерности. Правда, он не типичен в другом отношении: общественно-политическая реклама, а также "вестернизированная" близость его к общему тону и стандартам современной западной поэтики принесли незамедлительное признание ему и ту степень известности, о которой другие русские авторы (более самобытные и яркие) могут только мечтать. Здесь уместна параллель с тем, что происходит в восприятии западным истаблишментом политэмигрантов из России: "умеренные и аккуратные" диссиденты, мыслящие в категориях, близких стандартам западной поверхностно-либеральной идеологии, приветствуются, широко печатаются, получают университетские кафедры и объявляются "подлинными" представителями оппозиции советскому режиму. В то же время, действительно непримиримые враги советской власти, или оппозиционеры со слишком радикально выраженным признаком "русскости", клеймятся как "экстремисты", замалчиваются и обречены порой на существование в качестве *быто вых*, а не политических эмигрантов. (По этой причине, скажем, банальнейший по мысли Амальрик имеет всемирную рекламу, а действительно интересный человек и общественный деятель — Ди-

митрий Панин должен бороться против "заговора молчания". Пример выразительный и — увь! — не единственный).

Бродский давно понял — я думаю — те общественные выгоды, которые сулит герметичность его творчества. Он не политический поэт в точном смысле этого слова, но намеренная многозначность его стихов позволяет отыскивать в них политические аллюзии; он не обладает духом народности, но способен иной раз стилизоваться и под нее. Всем пафосом своего творчества противопоставляя себя как гражданственным тенденциям русской классической поэзии, так и духу пушкинской гармонии, столь многое в ней определившей, он, если нужно, использует перифразы из Пушкина, а на упрек в нерусскости своей поэзии может ответить, что ориентируется, скажем, на Державина. (Об этом, в частности, любит писать Лосев). Словом, при желании каждый способен истолковать Бродского в близком ему ракурсе и для каждого он подкинет свои резоны. Ибо герметичность его поэзии несет в себе элемент некоего "стилизаторского шарлатанства", когда поэт оказывается "со всеми" и одновременно *ни с кем*.

Слово "шарлатанство" я употребляю отнюдь не в дурном смысле. В сущности, поэзия (как и всякое искусство) включает в себя фокусничество, фиглярство, кокетничанье, игру. Более того, я думаю, что истинный талант Бродского проявляется всего сильнее именно в его стилизаторском инстинкте и — развеяй он его — ему, пожалуй, суждено было стать в русской литературе тем, чем Пикассо стал в мировой живописи: гениальным имитатором всех возможных стилей. У Пикассо, правда, это породило некий качественный синтез; за Бродского ручаться труднее, однако стилизаторство высокого уровня — во всяком случае неплохая перспектива.

А поэтизация герметичности как таковой — это тупик. Сколько ни наращивай ощущения мистики на исходную рациональность, алгебра заданной цели перевесит мнимую гармонию. Как ни высасывай метафизику из ничего, подлинная философия от этого не возникнет. В каких пропорциях ни примешивай верлибр к русской поэтической традиции — чувство *органичности* русского стиха достигается другим способом, а на этом пути Бродский — не только не глашатай-новатор, а скорее — откровенный эпигон...

Мы цитировали много "мудреностей" из рассуждений о Бродском Лосева и других "высоколобых" критиков. Хотелось бы — вопреки им — привести отнюдь не мудрящее, но откровенное мнение, высказанное простым читателем газеты "Новый Американец" в связи с шумом вокруг сорокалетия Бродского. В самой элементарности этого мнения чудится справедливость, равная возгласу о "голом короле". Беда, если раздастся такой возглас!..

Комментируя выход альманаха "Часть речи" и дав своему комментарию название "Торжество безответственности", читатель "Нового Американца" В.Зальцман писал:

"Посвящен альманах юбилею Иосифа Бродского. Значительный раздел отведен его творчеству, стихам и эссе. Эти материалы дополняются обширным интервью поэта. А также заметками о его литературной деятельности.

Иосиф Бродский – несомненно талантливый поэт. Контраст земного и возвышенного придает его стихам особую напряженность.

Тем не менее, угодливая шумиха вокруг его имени кажется преждевременной. Надеюсь, Бродскому удастся многое сделать в поэзии. Апологетизировать же его творчество, думается мне, рановато." ("Новый Американец", 1980 г., 1-5 августа).

Что верно – то верно. Рановато... Однако *не поздно* еще высказать надежду, что потенциалы, которыми наделен Бродский, смогут развиваться в более интересном направлении, чем это было до сих пор. Будет ли это связано с его *дегерметизацией*, с его усилиями более точно определить природу отпущенного ему таланта, – не знаем. Но, во всяком случае, если взамен бесконечной поэтизации собственной герметичности, он выйдет на простор поэзии действительно большого дыхания, тогда и разговор о его творчестве приобретет иное измерение и другую окраску.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

П О Э Т

Я мог бы быть быком-бытовиком,
Бытовичем, Быковичем-Быковским,
И обрывать шершавым языком
Гортензии по клумбам философским.

Что́ запахи? Что́ нежные духи
Устойчивым, земным, четвероногим?
А музыка, а краски, а стихи
Измышлены и дороги немногим.

А если — да? Но нет и нет, и нет,
Нет ничего, ни жвачки нет, ни стойла,
И наотрез откажется поэт
От вымени и отрубей, и пошла,

Чтоб, выбежав на влажный косогор,
Вести с луной и морем разговор.

К Р А С О Т А

Есть красота и в жемчуге кривом,
И в плешине — в облупленной полуде,
И в женщине — стрелке без левой груди,
И в кунтуше с облезлым рукавом;

В разбойнике — но и в городовом,
В быту крестьян — и в городской причуде,
В Иосифе — но также и в Иуде,
В живой змее — и в барсе неживом.

Оправданы надтреснутые фризы
И родинка не шее Моны-Лизы,
И прочерни на старом серебре.

Без выемок, без пятен, без увечий
У карликов задохся бы в добре
Бог-Гулливвер, гигант широкоплечий!

УЧЕНЫЙ МИРОВОГО ПРИЗНАНИЯ

(К Семидесятилетию со дня рождения и Пятидесятилетию литературно-научной деятельности Заслуженного Профессора доктора ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА СЕДУРО)

Имя Владимира Ильича Седуро хорошо известно американским читателям из числа славистов по многочисленным публикациям его ученых трудов. Русскоязычные читатели знают его со времени выхода ВЕСТНИКА и других изданий Института по изучению СССР в Мюнхене, где неоднократно печатались работы этого ученого-литературоведа. Знакомы с именем профессора Седуро и читатели парижской "Русской Мысли". Когда в Нью-Йорке в 1955 году появилась на английском языке большая книга В.Седуро "Белорусский театр и драма", проф. Петр Ершов приветствовал на страницах "Русской Мысли" и "Нового Русского Слова" появление этой серьезной научной работы. Он писал: "Ценная книга В.Седуро на английском языке рассказывает о том, что так мало известно на Западе и о чем с такой горькой правдивостью невозможно рассказать в СССР... Добросовестный ученый, В.Седуро имел в виду специальную тему, но книга его, живо написанная, доступна и очень интересна для любого читателя, интересующегося историей театра.

Больше того, — по полноте сведений и по широте охвата громадного материала, она — поучительный микрокосм, локальное отображение того трагического пути, по которому принуждено пока идти искусство всех подсоветских народов." ("НРС", 23 октября 1955 г.).

Журнал американских славистов "Америкэн Славик энд Ист Юропиэн Рэвью" за апрель 1956 года приветствовал эту книгу как большой вклад в дело изучения театра и драмы. Рецензент особо отметил критический дар проникновения в душу театрального искусства, тонкий анализ всех изменений, которым подвергался советский театр в условиях партийной политики. Он оценил широкую концепцию автора, культурное и эстетическое значение работы В.Седуро. Профессор Н.П.Вакар приветствовал эту работу как первую в иностранной литературе основательную книгу о белорусской культуре со времени Носовича, Шейна, Романова и Карского. В таком же духе высказывались о ней журналы: "Рашэн Рэвью", "Белорашэн Рэвью", "Украинская Литературная газета" в Мюнхене, американский журнал "Букс Эброд" и другие издания.

Еще более широкий отклик в печати свободного мира вызвало появление книг д-ра Седуро о Достоевском. Уже работа "Достоевсковедение в СССР", вышедшая в 1955 г. в издании Института по изучению СССР в Мюн-

хене, вызвала ряд положительных рецензий на страницах "Русской Мысли" (статья Ю.Терапиано "Достоевский в Советском Союзе" — 8 декабря 1955 г. и рецензия П.Ковалевского в номере от 1 июня 1955 г.). По свидетельству американских обозревателей, она была принята в качестве пособия в ряде университетов, как, например, Бостонском, Канзасском, Калифорнийском, в колледже Витон, в Гамбургском университете и в других высших учебных заведениях Америки и Европы.

После выхода на английском языке большой книги В.Седуро "Достоевский в русской литературной критике. 1846-1956" она была немедленно высоко оценена на страницах "Русской Мысли" (статья Ю.Терапиано в номере от 22 февраля 1958 г.), газеты "Новое Русское Слово" (статья Марка Слонома "Достоевский и его критики" в номере от 22 декабря 1957 г.) и в ряде американских, французских, английских и немецких журналов. Были положительные отзывы и в скандинавской печати.

Вашингтонский журнал "Нью Рипаблик" от 7 апреля 1958 г. вынес статью об этом труде на первые страницы. То же сделало и Лондонское Обозрение "Таймс" в номере от 29 августа 1958 г. после выхода книги В.Седуро в Англии в издательстве Оксфордского университета. Отзывы о книге были посвящены во всех изданиях, посвященных славянским литературам, а также во многих публикациях общелитературного и научного характера. В Америке эта книга была выбрана из числа многих и рекомендована в качестве ценной профессиональной работы для учителей, преподавателей высших учебных заведений и исследователей в области гуманитарных наук.

Международный успех книги о Достоевском позволил сделать вывод о творческом выходе русских ученых и писателей к западному читателю (статья "Где же выход из безнадежности" в "Новом Русском Слове" от 18 января 1959 г.).

Владимир Ильич Седуро родился в Минске 24 декабря 1910 года. Учился в Педагогическом техникуме имени Всеволода Игнатовского в Минске, а с 1930 года — в Университете в том же городе. В 1932 году перевелся на филологический факультет Московского университета. Состоял членом Организационного Комитета Союза Советских Писателей. Участвовал в ноябрьском Пленуме Организационного Комитета ССП в 1932 году. Сотрудничал в качестве научного работника в словарной комиссии Института Языка и Литературы Академии Наук БССР. Литературная деятельность была прервана внезапным арестом и ссылкой в Западно-Сибирские, а позже в Байкало-Амурские лагеря на три года.

Только в 1936 году В.И.Седуро возобновил прерванную учебу, поступив экстерном на филологический факультет Ленинградского университета, который и закончил в 1939 году. Позже работал в качестве преподавателя русской литературы в высших учебных заведениях Минска и заочно учился в докторантуре Института Языка и Литературы при Академии Наук, где в мае 1941 года защитил докторскую диссертацию на тему: "Максим Горький как историк русской литературы". Получив степень доктора филологических наук, он был назначен профессором русской литературы и

языка при Педагогическом Институте и старшим научным сотрудником в Научно-Исследовательском Институте Школ при Наркомпросе БССР. Война прервала эту деятельность. В 1944 году он очутился в качестве "остарбайтера" в Западной Германии. В мае 1945 года был освобожден американской армией и с того года по 1951 год работал преподавателем языков в ИРОВских профессиональных школах в Германии.

Затем начинается новый период литературно-научной деятельности В.И.Седуро. В Америке он сотрудничает в Научно-исследовательской программе по изучению СССР при Колумбийском университете в Нью-Йорке и создает ряд больших трудов по истории культуры белорусского народа (изданный по-английски труд "Белорусский театр и драма", монография "Белорусская опера и балет", труд по-немецки "Белорусское искусство", ряд работ о Достоевском и статей по истории русской культуры).

Много нового внес В.И.Седуро в развитие литературоведческой мысли. Он – автор множества статей. Для примера можно отметить некоторые из них. В "Современнике" были опубликованы его статьи: "Нравственный императив и герои Михаила Булгакова (№ 25, 1973 г.)", "Достоевский в послереволюционной эмигрантской критике" (№№ 16, 17-18, 19 и 20-21 за 1967-70 гг.), "Солженицын и традиции полифонического романа Достоевского" (№№ 32, 33-34 и 35-36). В "Новом Журнале" появились статьи: "А все-таки встреча Достоевского с Гоголем была" (№ 117, 1974 г.) и "О "Петербурге" Осипа Мандельштама" (№ 134, 1979 г.). На страницах "Нового Журнала" д-р Седуро убедительно доказал, что Достоевский уже в период работы над "Подростком" дал ключ к своему Фоме Опискину и прямо указал на "подполье Гоголя", выразившееся так ярко в "Выборных местах из переписки с друзьями". Ироническое отношение Достоевского к этому произведению Гоголя наиболее ярко выразилось в создании образа Фомы Опискина. А личные воспоминания о Гоголе, увиденном на обеде у А.Комарова, и о неблагоприятных впечатлениях, произведенных Гоголем на молодого Достоевского, придали создаваемому образу столько конкретнотелесных черт, что не приходится сомневаться в состоявшейся встрече Достоевского с Гоголем осенью 1848 года.

Преподавательская деятельность д-ра Седуро простиралась на ряд учебных заведений Америки. Он неизменно пользовался большой популярностью среди студентов и заслужил глубокое уважение среди своих сослуживцев.

Когда в 1959 году профессор Индианского университета Уильям Эджертон делал доклад в Москве перед советскими литературоведами, он рассказал об изучении русской культуры в США, о возрастающем интересе американских ученых к Достоевскому и Толстому, а в качестве примера достижений американской славистики назвал книгу В.Седуро "Достоевский в русской литературной критике". И советский журнал "Вопросы литературы" (№ 3, 1960 г.) зообщил об этом факте на своих страницах. Другой советский журнал – "Русская литература" в № 1 за 1959 год поместил статью А.Бруханского "Изучение или фальсификация?", критикующую ряд американских изданий, посвященных изучению СССР. Подверглась партийному

разносу и книга В.Седуро "Белорусский театр и драма". Однако даже советский обозреватель вынужден был выделить книгу В.Седуро из ряда других как отличающуюся обилием привлеченных фактов, широтой охвата темы и исчерпывающей библиографией. Непримируемый советский доктринер счел нужным допустить возможность использования фактического материала, имеющегося в труде д-ра Седуро, обуславливая это, конечно, "чрезвычайно критическим отношением к выводам", которые представлялись автору обзора "крайне враждебными" по отношению к СССР.

Так, даже при всех идеологических нападках, подлинная наука получает признание и за железным занавесом, в среде понимающих толк, хотя и выступающих в вынужденной роли казенных обозревателей, людей. По видимому, немало культурных читателей в современной советской России сможет только порадоваться тому, что на Западе выполняется, в условиях свободы, то, что не дано выполнить на родине. Руководствоваться же голосом научной совести при этом — долг и научная миссия ученых русского Зарубежья.

В вышедшей по-английски в 1975 г. книге В.Седуро "Достоевский в русской эмигрантской критике" подытожено всё, что сделали русские ученые за столетия заграничного изучения творчества Достоевского. Этой работой заинтересовались советские достоевсковеды и сейчас на основе ее составляется подробная библиография русской зарубежной литературы о Достоевском. Марк Слоним успел еще написать рецензию об этой книге. "Владимир Седуро, — писал он в "НРС" от 9 мая 1976 года, — один из самых крупных русских специалистов по "достоевсковедению" за рубежом. В свое время я отметил в "Новом Русском Слове" его ценную работу о Достоевском в нашей критике за целое столетие, начиная с 1846 года — даты появления "Бедных людей"... В.Седуро пользуется заслуженной репутацией серьезного и объективного ученого, и эти качества полностью проявлены и в его обзоре книг и наиболее значительных статей, посвященных Достоевскому эмигрантскими писателями". Митрополит Антоний, Константин Мочульский, Юрий Никольский, Николай Бердяев, Лев Шестов, Лев Зандер, В.Зеньковский, Вячеславцев и Штейнберг, Николай Лосский, Федор Степун, Ростислав Плетнев и другие получили должную оценку под пером д-ра В.Седуро.

В том же 1975 году вышла на английском языке книга В.Седуро "Образ Достоевского в России Сегодня", куда в качестве дополнения включены были все главы книги "Достоевский в русской эмигрантской критике". Лондонский журнал "Славоник рэвью" (№ 4, 1976) назвал эту книгу "замечательным библиографическим трудом", "весьма важным и неотъемлемым дополнением к нашим знаниям Достоевского", "которое "выдержит испытание временем... для всех преподавателей и исследователей в этой сфере". "Таймс Литерери Саплимент" (Лондон) отмечал 16 апреля 1976 года: "Седуро исследует предмет несомненного интереса с авторитетом углубившегося в материал, обворожившего его". И, наконец, журнал "Чойс" (Ассоциации университетских и исследовательских библиотек) дал в декабре 1975 года рекомендацию всем библиотекам приобретать книгу В.Се-

ду ро в качестве пособия для аспирантов и студентов.

В 1977 году издательство Кристофера (Массачусетс) издало по-английски большую иллюстрированную книгу д-ра Седуро "Достоевский в русском и мировом театре". Это труд о театральных инсценировках романов Достоевского на русской, французской, английской, американской, немецкой, итальянской, испанской, бельгийской, голландской, датской, норвежской, шведской, финляндской, польской, чехословацкой, венгерской, румынской, болгарской, югославской и других сценах Европы. Книга явилась очередным большим вкладом д-ра Седуро в изучение Достоевского и заслуженно вызвала многочисленные положительные отзывы в прессе.

В журнале "Факел", издающемся университетом Валпарэйзо в Индиане, В.Куссров Младший писал: "Владимир Седуро является признанным достоевсковедом. Он автор 12 книг и 330 статей; его заслуги в области изучения Достоевского получили широкое признание. Неудивительно, что книга "Достоевский в русском и мировом театре" является тщательным научным трудом, красиво иллюстрированным, с превосходными примечаниями и полезным индексом."

В течение ряда лет д-р В.И.Седуро был вице-президентом Нью-Йоркского и Нью-Джерсиского Отдела Американской Ассоциации Учителей Славянских и Восточно-европейских Языков, вице-президентом Северо-Американской Ассоциации Достоевсковедов и американским Представителем в Интернациональной Ассоциации Достоевсковедов, инициатором создания которой он был в США. Д-р Седуро активно участвовал во всех симпозиумах Ассоциации и читал на них доклады о Достоевском.

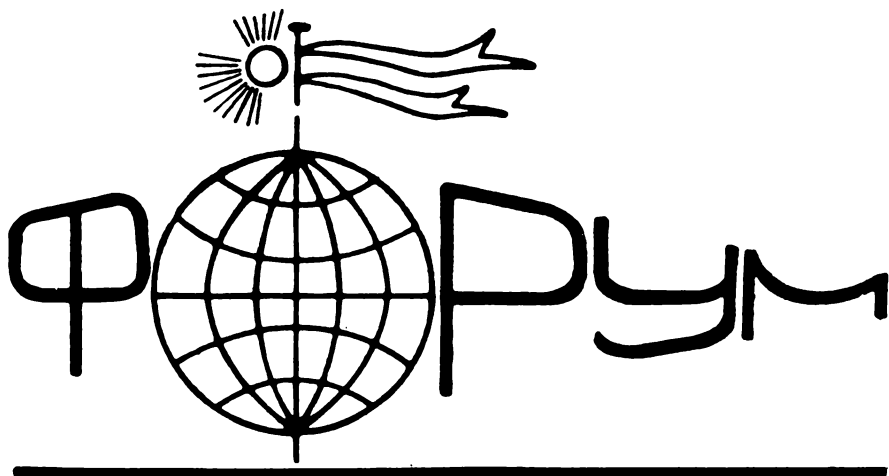
В знак признания научных заслуг д-р Седуро был награжден семью наградами, в том числе Исторической наградой в связи с Двухсотлетием США. Его биография помещена в 13 энциклопедических биографических изданиях.

24 декабря 1980 года заслуженному профессору Владимиру Ильичу Седуро исполняется семьдесят лет, а пятидесятилетие литературно-научной деятельности фактически исполнилось летом 1979 года — пятьдесят лет со дня первой публикации литературного произведения. Сослуживцы, друзья и благожелатели желают ему здоровья и новых творческих успехов на благо свободной науки и искусства.

С. Т О Л

* * *

Апрель,
на припеке,
играет лучами.
Разбужены солнцем,
пространства звенят.
Морозы ибури
уже за плечами...'
Наполнены парки
весельем ребят.
Как девушки,
первую радость приемля,
весны наступленье и солнца поток,
березки украсили звонкую землю,
Набросив на плечи
зеленый платок.
И я, улыбаясь,
от радости таю
и злобу,
волнуюсь,
в душе не таю.
И только все чаще,
как сон, вспоминаю
в атаках погибшую
юность мою.



РУССКИЕ ПРОТИВ РУССИФИКАЦИИ

В числе преступлений советско-империалистического коммунизма политика национального угнетения и этнического геноцида выделялась особой своей обнаженностью и агрессивностью. Одним из наиболее коварных методов ее была руссификация. Она применялась и применяется против украинцев, белорусов, прибалтийцев, народов Кавказа и Средней Азии. На примере самого крупного из угнетенных народов СССР — украинского — можно с предельной ясностью увидеть ее трагические последствия и тенденции.

Десятками миллионов жизней исчисляются жертвы, понесенные Украиной, поработенной кремлевскими тиранами. Сознательное и планомерное истребление украинского крестьянства, интеллигенции, молодежи, политика депортации или искусственно создаваемых "миграций", жестокое подавление любых форм национального самосознания — всё это составляет чудовищный перечень омытых кровью событий, которые легли позорным пятном не только на советскую, но и, к сожалению, на русскую историю.

Ибо, хотя русский народ и сам страдает от коммунистического режима, однако именно его кремлевские диктаторы используют как орудие подавления в своей национальной политике. Осознание этого факта самими русскими отнюдь не означает чего-то "непатриотичного". Напротив, это создает основу для возникновения действительно национального русского

патриотизма, отмытого от советчины, великодержавного шовинизма и непонимания своих исторических соседей — украинцев в первую очередь.

Издавна Москва с ее колониальными претензиями воспринималась как страшная угроза для самобытного существования многих народов. Советская власть развила традиции великорусского шовинизма до предельной степени; колониалистское чванство, помноженное на коммунистическую жестокость, дало чудовищный плод в виде ленинско-сталинско-хрущевско-брежневской национальной политики.

В настоящее время на Украине наблюдается усиление руссификации. Путем вытеснения украинского языка хотя бы ослабить национальную сопротивляемость украинского народа, подорвать его историческую память, уничтожить самостоятельную культурную традицию. И сделать это должен искусственно насаждаемый русский язык.

Кому же как не русским антикоммунистам следует в первую очередь осудить правителей СССР за использование нашего великого и могучего языка — языка Пушкина и Толстого, Достоевского и Лермонтова, Тургенева и Чехова — в качестве средства для искоренения языка наших братьев — украинцев? В руках коммунистов даже язык нашего народа оказывается чем-то вредоносным и преступным. Поэтому осуждение политики руссификации, проводимой на Украине (как и в других "союзных республиках") является для всех истинно свободолюбивых русских моральной и политическо-культурной необходимостью. Народ, гордящийся Пушкиным и Толстым, не должен содействовать политике унижения народа, гордящегося именами Шевченко и Коцюбинского, Ивана Франко и Леси Украинки.

На страницах независимого демократического русского журнала "Современник", издающегося в Торонто (Канада), мы выступали и выступаем за развал московско-советской колониальной империи, за предоставление всем угнетенным народам права на независимость и свободу. Отстаивая традиции русской свободомыслящей литературы, мы с особой решительностью осуждаем советскую политику руссификации и выражаем полную поддержку украинских национальных сил, борющихся против советско-империалистической тирании.

В дни, когда героические польские рабочие своей борьбой доказали, что и в условиях коммунистического режима возможно успешное народное сопротивление, мы выражаем надежду, что и украинский народ сумеет, при определенных обстоятельствах, вернуть свою свободу. Мы надеемся также, что среди русских будет усиливаться понимание справедливости чаяний наших украинских братьев и — наоборот — будут ослабевать шовинистические и "единонеделимские" предрассудки. Литературно-общественный журнал "Современник" постарается и дальше вносить свой вклад в этот благотворный процесс. Наше осуждение политики руссификации на Украине — лишнее тому свидетельство.

Редакция журнала "Современник".

Октябрь, 1980 г.

КАК ОТМЕЧАТЬ ЮБИЛЕИ?

В номере 18 журнала "Голос Зарубежья" (стр. 36-38) бывший редактор "Современника" Л.Е.Фабрициус выступил с письмом под названием "Странный "юбилей". Иначе, как желанием принести вред тому самому журналу, в котором г-н Фабрициус участвовал и который сделал для него немало хорошего, трудно объяснить этот "фокус". Впрочем, если кому и вредит больше всего г-н Фабрициус, так это самому себе, ибо после его выступления в печати, приходится нам, в "Современнике", сказать о нем п е ч а т н о то, что мы великодушно предпочитали считать "внутренним делом" редакции.

Формально Л.Е.Фабрициус "заступается" за своих предшественников на посту редактора "Современника" Страховского и Савина, которых я — как он утверждает — "оклеветала". На деле он пытается оправдаться за собственные грехи, понимая, что критика в адрес старого руководства "Современника" (в состав которого он входил) может быть адресована и ему. Аргументация г-на Фабрициуса в этой связи поражает своей вздорностью и внутренней пустотой.

Во-первых, кое в чем он передергивает факты. Я не связывала (см.: "Современник", № 45-46, стр. 6-10) наличие эмигрантских интриг персонально с именами Страховского и Савина. Лично я не знала ни того, ни другого, но зато с интригами в эмигрантской среде столкнулась очень скоро после своего приезда в Торонто. В этих интригах активно участвовали бывшие члены Редколлегии журнала г-жа Боброва и г-н Жекулин, причем объектом их интриг был и сам г-н Фабрициус, на что он некогда громко жаловался. Право, у г-на Фабрициуса короткая память, если он забыл об этом, как, видимо, забыл также, что в результате беспомощного ведения журнального дела "Современнику" грозило закрытие, от коего он был спасен самоотверженным и а б с о л ю т н о б е с к о р ы с т н ы м (не в пример некоторым бывшим сотрудникам журнала) трудом людей, понастоящему преданных литературе. Благодаря этим людям г-н Фабрициус был сделан редактором "Современника"; благодаря им же — не слишком утруждал себя, находясь на этом посту; и с их же помощью приобрел тот писательский вес, которого почему-то он не имел во времена Страховского и Савина, Бобровой и Жекулина.

На этом следует остановиться несколько подробнее. Г-н Фабрициус в своей заметке в "Голосе Зарубежья" признает (деваться-то некуда!), что приводимые мною примеры недостатков в работе редакции журнала соответствуют истине. Он лишь полагает, что этих примеров не так много и, следовательно, о них можно бы, дескать, не вспоминать в "юбилейной" статье. Увы, г-н Фабрициус, примеров можно привести еще немало, но именно по причине "юбилейного великодушия" я решила не распространяться в этом аспекте. Что же пишете вы? "Две ошибки... за пятнадцать лет существования журнала и на 27 вышедших к тому времени номеров,

это неплохо, даже очень неплохо." Ах, г-н Фабрициус, у вас всегда хромали критерии оценок!.. По-вашему, "неплохо" и то, что за *пятнадцать лет* вышло *27 номеров* журнала, который должен был издаваться по *четыре номера в год* (т.е. должно было появиться 60 номеров)? Продолжим нашу арифметику: с 1975 года (т.е. со времени, когда в редакцию "Современника" пришли люди, его спасшие от закрытия) по нынешний 1980 год появилось *двадцать* номеров, несравнимо бóльших по объему, более разнообразных по содержанию, с новыми рубриками, авторскими именами и т.п. Вот это действительно *не плохо!* "Современник" стал настоящим журналом, а не альманахом, задрапированным в ложное название. Между прочим, за эти же пять лет на страницах "Современника" опубликованы роман г-на Фабрициуса, две его повести, два рассказа. Никогда прежде г-н Фабрициус не был столь авторски продуктивен. В чем же секрет этого? В том, что ему помогли в его писательской работе (чего не было во времена Страховского и Савина), помогли в подготовке его недавно вышедшей книги, освободили от громадной доли редакторских забот. Чисто по-человечески хотя бы г-н Фабрициус должен быть благодарен за это *нынешней* Редколлегии, да и признать заодно, что для "Современника" последние пять лет оказались куда значительней, чем предшествующие пятнадцать. Но для этого, помимо чувства благодарности, надо обладать еще принципиальностью, а тут у г-на Фабрициуса загвоздка...

Он иронически соглашается со мной, что в *былые 15 лет* в "Современнике" подлинной принципиальности не было. Он соглашается тем легче, что для него само слово "принципиальность" есть понятие абстрактное и обременительное. Кивая в адрес некоторых авторов "Современника", он осуждает их материалы, опубликованные в журнале. А, между тем, они печатались тогда, когда г-н Фабрициус входил в Редколлегию журнала и (в меру своего "трудолюбия") хотя бы формально участвовал в редакционной деятельности. Мы не помним никаких "протестов" г-на Фабрициуса против решения публиковать материалы В.Гиндина и М.Армалинского (на которых он теперь нападает). Получается, что если г-н Фабрициус все-таки был против них *тогда*, значит, согласившись на публикацию их статей, он проявил беспринципность и бесхарактерность. Ну, а если он *не был против*, значит теперь он пытается передернуть факты. В обоих случаях мы видим, что с принципиальностью у г-на Фабрициуса плоховато. Поневоле хочется (и не без злорадства) заметить ему: извините, г-н Фабрициус, но ваше негодование задним числом ничего не меняет. Вы, как бывший член Редколлегии "Современника", ответственны за появление *всех* материалов, которые публикуются в журнале. Вот теперь, после вашего ухода, — дело другое. А до того — извините...

Кстати, нынешний ваш уход не стоит "героизировать". Не за Савина и Страховского вы обиделись, а за то, что внутри редакции вас критиковали за превышение всех допустимых пределов ленивости и наплевательства в отношении конкретных журнальных дел. Да и вообще: за те пять лет, что я связана с журналом "Современник", по меньшей мере раз десять слышала я от вас призывы журнал "закрыть". Это происходило при

малейшем затруднении финансового или организационного характера (а у какого эмигрантского журнала не бывает таких затруднений?). Со столь капитулянтским настроением духа, действительно, не стоит заниматься журналистикой...

Подспудный пафос нынешнего негодования г-на Фабрициуса связан с его "мещанинством", если можно так выразиться, пониманием того, каким должен быть журнальный юбилей. Он полагает, что на юбилее, как на похоронах: "о мертвых только хорошее..." Лишний раз сие свидетельствует о журналистской некомпетентности человека, которому много раз объясняли, чем настоящая литература отличается от литературных альбомов и чем история эмиграции отлична от эмигрантской сплетни. В своей статье, посвященной 20-летию "Современника", я пыталась отразить как успехи, так и слабости в деятельности журнала. Соглашусь с г-ном Фабрициусом в одном: перечисляя недостатки, характерные для бывших руководителей "Современника", я, видимо, зря не сказала о недостатках именно его — г-на Фабрициуса. Ныне это упущение исправлено. Хотя бы отчасти...

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА

О Б Р А Щ Е Н И Е

Ввиду усилившихся преследований христиан в Советском Союзе, западные журналисты все чаще обращаются к русским общественным организациям за информацией о жизни верующих, о положении церкви, о гонениях. Журналисты западных газет и журналов просят присылать им СНИМКИ, могущие иллюстрировать статьи о положении церкви, СНИМКИ храмов, фотографии церковных деятелей и т.д.

Создание ФОТОТЕКИ стало насущной необходимостью для того, чтобы западное общественное мнение ЗНАЛО и ВИДЕЛО то, что пытаются скрыть советские руководители.

Мы обращаемся к русским людям, живущим на Западе, с просьбой прислать нам имеющиеся у них фотографии на указанные темы для пополнения уже существующей фототеки.

Присланные Вами фотографии будут пересняты и возвращены Вам через три недели после их получения.

СНИМКИ или НЕГАТИВЫ просим направлять по следующему адресу (лучше заказной почтой):

A.C.E.R. Aide croyants. 91, rue Olivier de Serres FR.
75015 Paris. France.

СЕДЫХ? – ДА, ВИНОВЕН!

"Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата!.." – Когда Лермонтов писал эти горькие строки, он вряд ли надеялся на близкое по времени правосудие. Но в то, что память истории заклеят кого надо, – в это он верил безусловно. Как и верил в "Грозного Судию", злату неподкупного...

Г-н Седых – редактор "Нового Русского Слова", скорее всего не верит ни в Бога, ни в черта. "Золотишко" – дело другое; газетный миллионер Седых (манипулирующий к тому же Литературным фондом) если в чем и убежден намертво, так это в неотразимой силе златого тельца. Ведь скольких в эмиграции он заставил работать на себя, то ли шантажируя старых литераторов угрозой потери их скромного "пенсiona", то ли приманивая более молодых теплым местечком в газетном штате! Скольким писателям и журналистам он преступил дорогу, требуя, чтобы те приспособились к его "линии", а в противном случае организуя их травлю, либо создавая вокруг них искусственный "заговор молчания"! И, вроде бы, всё срабатывало: стал газетным боссом, сам себя издает, сам на себя хвалебные статьи "организует"; иногда на прием к президенту США попадет, иногда на своевременном "пожаре в редакции" спекулировать сумеет. Только не повезло ему с беспокойной "третьей эмиграцией".

И начали всё чаще кричать ему из этой "беспокойной", что король, мол, голый! И писатель-то Седых средненький, никак не заслуживающий созданного культа, и журналист нечистоплотный, и приемами запрещенными пользуется, и нравы мафиозные насаждает. Очень всё это не понравилось г-ну Седых и решил он подвести, так сказать, "теоретическую базу" под свои деяния. – Ах, такие-сякие! – думает. – Вы обижаетесь, что я кого-то замалчиваю, чьи-то объявления в газете не даю? Ну так я сейчас разъясню!.. – И разъяснил...

В "НРС" от 1 июля 1980 года читаем следующий шизофренически-сенильный "перл":

"По старому эмигрантскому опыту я знал, что сов. правительство вербует своих тайных агентов в самых разнообразных кругах. К несчастью, доказать принадлежность к органам того или иного лица, на которого падает подозрение, чрезвычайно трудно. И в Новом Русском Слове мы всегда в этом отношении были особенно осторожны. Имена возможных провокаторов попросту изгоняются со страниц нашей газеты, мы не рекламируем издаваемых ими журналов, не пишем рецензий на их выставки, не обсуждаем их выступления в эмигрантских газетах."

Вот так-то, уважаемая эмиграция (особенно "третья")! Оказывается, есть Айятолла Седых в Нью-Йорке, который всё определяет одним росчер-

ком пера (или телефонным звонком, или простой сплетней – смотря по обстоятельствам!): кто *действительный* провокатор, а кто – хотя бы *возможный*. И ведь термин-то какой изобрел – даже советская юстиция с ее жалким "враг народа" до этого не додумалась. Все-таки знаменитые "тройки" сталинского времени не лепили ярлык "возможный враг народа", а в хрущевское время в СССР вспомнили о забытом было принципе презумпции. Интересно, г-н Седых, знаете ли вы о таком понятии?

Остается только кинуть клич ко всей эмиграции: "Возможные провокаторы, соединяйтесь!" Именно *ко всем* эмигрантам это адресуется, ибо любой, кто не понравится г-ну Седых, может быть объявлен "возможным провокатором". Вы художник и рисуете немного в манере Ильи Глазунова? Чем же не провокатор? – ведь для Седых Глазунов – явный "агент КГБ". (Вот предатель Дудко, которого Седых подхваливал, тот не предатель, не смотря ни на какие свои "покаяния" – и насчет этого Седых распинается в том же самом номере своей газеты от 1 июля). Вы писатель и пишете нечто не в духе "НРС"? – опять же "провокатор", ну, а за недоказанностью этого – "возможный". Интересно только, как бы среагировал г-н Седых на применение к нему термина "возможный подлец"? Впрочем, здесь, мне кажется, модалность – излишняя роскошь...

Не так давно в Нью-Йорке начала выходить еженедельная газета "Новый Американец". Люди, ее создавшие, продемонстрировали подлинные качества современных журналистов: талант, темпераментность, независимость суждений, профессиональную хватку. И тут же г-н Седых начал против этой газеты "войну": отказался печатать ее объявления, потребовал от "своих" людей бойкотировать "конкурента" и т.п. Что же, г-н Седых, мы должны поверить вам, что вся редакция "Нового Американца" и все его авторы – "возможные провокаторы"?..

В журнале "22" (№8 за 1979 г.) Дора Штурман пишет о проблеме доверия (или недоверия) к людям совсем по-иному, нежели Седых, и по контрасту хочется привести ее рассуждения, отмеченные не доступной для редактора "НРС" мягкой мудростью тона:

"Ты приехал из России позже других. К тебе подходит человек, о котором тебе говорили плохо, с которым почему-то тебе не советовали заводить отношения, которым тебя пугали. И советы-то эти были неубедительные, и запугивающие люди – люди ненадежные, а вот поди ж ты: все-таки ты отворачиваешься от подошедшего, отворачиваешься торопливо, неприязненно, угрожающе и испуганно. Почему? Почему бы не выслушать, не довериться своим ушам, глазам, уму, опыту, почему не вести себя, наконец, как положено свободному человеку?!"

О скольких людях мне довелось за два года услышать: "агент ГБ", "стукач", "провокатор", "их человек"! Я не ребенок и понимаю, что "их людей" здесь больше, чем кажется самым подозрительным из нас. Побег они могут инсценировать, эмигрантов – фильтровать, высылку – разыгрывать по сценарию, тиражи наших изданий скупать под видом переправки

в Россию. Могут. Всё могут. Обо всём, о чем можем додуматься в своей подозрительности мы, могут додуматься и они. И выгоднее всего для них, нужнее всего — чтобы мы в это поверили и перестали верить друг другу. Но даже в лагерях стукачей никогда не было больше, чем порядочных людей! Никто не обязывает нас даже близким людям, не говоря о случайных знакомых, открывать чужие тайны: есть правила безопасности, и тех, кто остался там, следует оберегать. Но не подзревать же каждого встречного! И не подменять на этом основании демократическую полемику советской газетной травлей, которая пренебрегает презумпцией невиновности, объективностью следствия, правом обвиняемого на защиту!" (Стр. 164-65)

Хорошо написала Дора Штурман! Не уверен на сто процентов, что сама она (как и ее коллеги по журналу "22") всегда следуют духу провозглашенной ею терпимости, но сказано всё это, словно в поучение параноидному бреду Седых о "возможных провокаторах".

Очень справедливо отчитал г-на Седых и редактор "Нового Американца" Сергей Довлатов (см.: "НА", 12-17 августа 1980 г. — С.Довлатов. "Убью тебя на всякий случай"). Вызывают, правда, некоторое недоумение слова С.Довлатова о том, что в освещении дела Дудко г-н Седых руководствовался "истинно христианскими чувствами". По-моему, искать "христианские чувства" у Седых — труд совершенно напрасный. По аналогии вспоминается, как один из услужливых сотрудников "НРС" некогда умудрился обнаружить в книгах Седых "мягкий украинский юмор" аж в манере... Шолом-Алейхема... Сопоставляя все эти слагаемые, мы осмелимся утверждать, что г-н Седых не обладает ни "украинским юмором", ни талантом Шолом-Алейхема, ни "христианскими чувствами"...

Суд истории — понятие и условное, и, как правило, отдаленное. Однако суд этот в конечном итоге состоится, и перед лицом его один из самых мафиозных журналистов нашего времени — Седых, окажется безусловно виновным. Ибо, насаждая в эмиграции шпиономанию, склочность и "войну всех против всех", он оказывается уже не *возможным*, а *реальным* провокатором. Разобращение эмиграции, шельмование оппонентов на том смехотворном основании, что они, *возможно*, не то "шпионы", не то просто "не наши", — это ли не провокаторство, которое всего более на руку Лубянке? Это ли не доказательство того, что *советские* по своему характеру приемы борьбы используются *антисоветской* по виду газетой "Новое Русское Слово" и словесным "антикоммунистом" — ее редактором?.. Заклеймить позором его, позорящего само понятие "журналист", — долг всей истинно демократической прессы. Я надеюсь, что эти строки окажутся полезным свидетельством для того времени, когда голос истории призовет к суду человека, слишком уверенного в своей безнаказанности *сейчас*. И вслед за этим криминальным именем — Седых, прозвучит короткое и неизбежное: "Да, виновен!"

ИУДА ПИШЕТ НЕКРОЛОГ

Давний предатель и стукач Геннадий Тарасевич, подвизающийся в газете "Новое Русское Слово" на правах постоянного сотрудника, избрал для себя новый жанр: помимо дешевых фельетонов и баек стал писать аж... некрологи (см.: "НРС", 10 сентября 1980 г. — "Памяти солагерника"). Как и всё у Тарасевича, уже одно название некролога (он посвящен Ю.Машкову) звучит фальшиво; ведь — пишет сам Тарасевич — его и Машкова лагерные судьбы "не пересеклись в одном лагерном пункте". Тем не менее, Тарасевич использует любой повод, чтобы подкрасить в глазах читателей свою грязную репутацию, изображая себя чуть ли не старым политкаторжанином.

Приемы его письма элементарны. Он использует метод полуправды, комбинируя некоторые бесспорные детали с фигурой умолчания насчет других и с подтасовкой фактов. Так, например, он упоминает, что провел в заключении 9 лет и что был осужден за попытку перехода границы, а затем и за участие в лагерном побеге. Верно! Однако он жутко боится раскрытия того, что стоит за этими внешними фактами, ибо там всё замешано на его предательстве и трусости. Пытался ли он бежать за границу? Да. Но, пойманный, позорно "раскололся" на следствии, пытался провалить подпольную антисоветскую группу, в которой участвовал, лебезил перед чекистами, вымаливая смягчение приговора. Участвовал ли он в лагерном побеге? Да. Но Тарасевич молчит о том, что знали узники Потьминского лагеря, где была сделана попытка побега: именно Тарасевич был осведомителем начальника режима лагеря майора Агеева о готовящемся побеге (который, естественно, и провалился). В соответствии же с планами хозяев Тарасевича, ему приказали "пойти в побег", чтобы затем оказаться в числе "пойманных" и, таким образом, не потерять доверие других заключенных. Тем более, что "игра" продолжилась во Владимирской тюрьме, куда Тарасевича поместили как бы в "наказание за побег". Здесь чекистам пригодилось знание Тарасевичем английского языка: он был посажен в одну камеру с англичанином Гревиллом Винном (подельником Олега Пеньковского), играя роль тюремной "наседки".

Об этой изнанке биографии Тарасевича (да и о некоторых других вещах) знает редактор "НРС" Седых. Почему же он так "привязан" к стукачу и предателю Тарасевичу? Видимо, г-н Седых предпочитает иметь сотрудников с грязным прошлым, которое всегда можно использовать, если сотрудник станет "непопулярным". По этой же причине Седых не любит независимых и честных людей.

А теперь — маленькое отступление... В 1936 году, в самом начале гражданской войны в Испании, был убит знаменитый поэт Федерико Гарсиа Лорка. Впоследствии один из тех, кто принял участие в подготовке его убийства, написал посвященный Лорке сонет. По этому поводу в Испании говорили, что автор сонета отличался от Иуды тем, что последний сонетов не писал. Ныне Геннадий Тарасевич продолжает традицию неоиудушек: он пишет некрологи...

Уважаемый Господин Редактор!

В связи с появлением статей П.Болдырева в Вашем журнале (номера 43-44, 45-46 и др.) прошу Вас поместить в "Современнике" следующее.

В основе болдыревского кредо лежит ошибочный, ложный взгляд на СССР как на продолжение имперской политики дореволюционной России. Это – глубокое, вольное или невольное, но трагическое заблуждение, присущее также некоторым кругам Запада, чреватое апокалиптическим будущим для всего человечества. Лучше, умнее других социологов Запада судит о СССР французский социолог Алэн Безансон в интервью, данном им "Русской Мысли" 19 июня сего года, – тот самый А.Безансон, на которого так любит ссылаться г-н Болдырев и цитаты из которого являются прямым вызовом ложным, клеветническим концепциям последнего.

Цитирую только начало интервью. – "Коммунизм трудно понять оттого, что он представляет собою явление радикально новое. Весь накопленный человечеством исторический опыт становится практически бесполезным именно потому, что *это – нечто абсолютно новое* (курсив мой – В.И.). Опасность же заключается в том, что человек, не умея сделать умственное усилие, необходимое для подхода к коммунизму как к полностью новому явлению, пытается уподобить его чему-то уже испытанному. Так, СССР рассматривается или как продолжение Российской Империи, или как классический завоеватель типа монгольских завоевателей, Александра Македонского, Наполеона, или опять-таки бывшей Российской Империи..."

Комментарии, как говорится, – излишни.

В. ИНГУЛ

* * *

Многоуважаемый г-н Главный Редактор!

Прошу поместить это письмо как реплику на странное выступление г-на С.Рафальского в его статье "Янус" ("НПС" от 16 марта). В этой статье, говоря о неких великороссах-"неонационалистах", попавших за рубеж и анафемствующих Российскую и советскую нынешнюю империю на всех перекрестках, автор далее конкретизирует: "Один из мыслителей этого порядка даже додумался до того, что в "возрожденной России-Великороссии" должно быть внесено в основные законы запрещение какого-либо объединения (федерации, конфедерации) с бывшими "плененными" народами". Могу засвидетельствовать, что г-н Рафальский здесь вольно парфразирует один из тезисов моей статьи "Русские – за упразднение импе-

рии", вызвавшей значительные отклики и напечатанной на русском языке в сан-францисской газете "Русская Жизнь" (28 марта 1978 г.); на английском, украинском и белорусском языках — в центральных национальных газетах "Свобода" (Нью-Джерси) и "Белорус" (Нью-Йорк), а также в нескольких других украинских и белорусских газетах и журналах Европы, Америки и Австралии. В своей статье, дополняя 3 основных пункта программы по национальному вопросу, в предвидении будущего возможного развала империи и крушения тоталитарного режима в СССР, я писал: "Может быть, для русского национального государства следует особо предусмотреть еще один конституционный момент. Я имею в виду запрещение в законодательном порядке русскому правительству удовлетворять просьбы о возврате каких-либо бывших подсоветских нерусских народов в состав России." Таковы мои подлинные слова. Они были вырваны г-ном Рафальским из контекста и творчески им "аранжированы"...

Г-н Рафальский употребляет здесь тот же прием, которым воспользовалась ранее, и в отношении того же предмета, Главный Редактор мюнхенского журнала "Голос Зарубежья" г-жа В.Пирожкова. Разница лишь в том, что г-н Рафальский дополнил этот прием (искажение мысли путем произвольного изъятия ее из контекста) фигурой умолчания, опустив мое имя, заголовок статьи, откуда выхвачена мысль, название печатного органа, где она была опубликована. В ответе на мое "Открытое письмо" в "Голосе Зарубежья" № 9 г-жа Пирожкова всю эту информацию полностью дает, включая и дословную цитату из моего текста. Это несколько меняет (в лучшую сторону) моральную окраску, но, к сожалению, ни на иоту не изменяет фактической стороны дела, что и вынуждает меня самому попытаться восстановить истину и справедливость.

Дело в том, что, как уже подчеркивалось, г.г. Пирожкова и Рафальский процитировали не всю мою мысль, но лишь одну ее часть. А затем интерпретировали эту часть как выдвинутую мною догму, не подлежащую якобы изменению. А тем не менее, в оригинальном тексте своей статьи я отчетливо разъясняю, что "догма" эта, во-первых, является сугубо дискуссионной и отражает лишь мою личную, следовательно, ограниченную и одностороннюю точку зрения. А во-вторых, это вообще не догма и не окончательный рецепт. Напротив, я настойчиво акцентирую, что законодательный запрет возврата есть в р е м е н н а я и лишь профилактическая мера. В статье я писал об этом буквально следующее: "Слишком запутан и напряжен национальный вопрос в Союзе, слишком размыты и нездоровы национальные тела, чтобы так вот сразу, не успев еще обрести и упрочить как следует национальной самостоятельности, начать переговоры об образовании какой-то новой конфедерации." Для чего тогда вообще расходиться? — ставлю я далее риторический вопрос. "Для того, чтобы свободно объединиться на новых и здоровых началах, надо сперва их выработать. Для этого надо как следует разъединиться... научиться стоять на собственных ногах, научиться жить самостоятельно. И лишь затем — объеди-

няться. Для всего этого нужно время." Здесь, как видим, речь идет в конечном счете не о бесповоротном разъединении, а, напротив, о желательности объединения, о будущей конфедерации, только по необходимости в отдаленной, отсроченной тяжелыми историческими обстоятельствами перспективе. И в каких-то принципиально иных, подлинно конфедеративных, формах. Законодательный запрет объединения, таким образом, не выступает в контексте моей статьи как цель, но лишь как временное средство, — и средство как раз противоположной цели. Я искренне удивлен, что столь простой и главный мой вывод ускользнул от внимания опытных публицистов, которые предпочли почему-то выпятить хотя и очень важный, но все же промежуточный, подчиненный в моих предложениях момент.

И еще одно необходимое разъяснение. "Конфедерация, — по определению известного русского правоведа, — есть соединение нескольких государств (выд. мной — П.Б.) для совместного осуществления союзной властью общих им задач государственной жизни" (Н.М.Коркунов. Русское государственное право. Т. 1. Изд. 7-е. СПб., стр. 151). Конфедерация полнокровна лишь тогда, когда является союзом крепких и здоровых, уверенных в себе и независимых государств. Иначе это вообще не конфедерация. Но как раз аутентичной конфедерации, согласно тому же Коркунову, в исторической России никогда не было. Тем более ее нет в СССР. Исходя из этих очевидных положений, я и заключал — на неопределенное гипотетическое будущее, — что после развала СССР (буде таковому суждено) всем народам на его бывшей территории еще предстоит оздоровиться, предстоит еще завоевать, а затем упрочить свою национальную независимость. А затем, когда придут, даст Бог, подлинная дружба и доверие между свободными народами, можно будет подумать сообща о создании настоящей, а не мнимой, конфедерации — союза свободных национальных государств.

Такова была моя подлинная мысль. С ней можно соглашаться или нет, ее можно принимать всерьез или как утопию (например, как дележ шкуры неубитого медведя), она может нравиться или не нравиться. Но зачем же обязательно профанировать почти до неузнаваемости, рвать на части, замалчивать одно, выпячивать другое? Зачем любыми путями — диффамировать?

П. БОЛДЫРЕВ

* * *

Уважаемый г-н Редактор!

С моей точки зрения, выпуск недавно фальшивого номера "Правды" для засылки его в Советский Союз — это блестящая пропагандистская ак-

ция. Как известно, в этом номере рисуется воображаемая картина военного переворота в СССР и развала советской империи. Прекрасная перспектива! Дай Бог, чтобы, как говорится, сон – в руку! Возникает лишь одно недоумение. Номер фальшивой "Правды" готовили диссиденты, примыкающие к Максимову и его группе. Обычно они на каждом углу кричат, что являются, мол, убежденными "эволюционистами", что они против революции и вообще "насилия". Г-н Максимов не так давно публично заявлял, что он бы даже был против революции в СССР, если б она там произошла помимо его воли. Возглавляемый им "Континент" гнет ту же линию.

А вот на страницах фальшивой "Правды" Максимов и "максимовцы" делают ставку именно на революцию. Тогда чего же стоит их обычное *антиреволюционное* нытье и насколько искренни они, мечтая о падении советской власти?

Забавно также, что на страницах "Нового Русского Слова" известный мракобес Бровцын – автор смехотворного проекта "Российской Федеративной Империи", завопил: "караул! Россию расчленяют!" Г-н Седых, испугавшись окрика этого динозавра от политики, тут же заверил, что он не принадлежит к числу "расчленителей". Так что в СССР могут быть спокойны: "НРС" против его "раздела". (См.: "НРС" от 28 августа 1980 г.).

Мне лично думается, что г-ну Седых на Россию, в любых ее географических очертаниях, просто наплевать. Верный своему цинизму, он высуживается перед единонеделимцами, которые количественно пока в русской эмиграции преобладают. Изменится соотношение сил – и Седых немедленно заговорит по-другому. И для этого даже не потребуется выпускать новый номер фальшивой "Правды".

О. Б.
Ванкувер, Канада.

СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА?

(Продолжение. Начало в № 42 и в последующих)

5. Миф о чудо-оружии.

Появилось ли чудо-оружие, изменилась ли природа войны за последние 30 лет? Для подобного утверждения, повторяемого охотно, факты не дают достаточных оснований.

Воздушные стратегические бомбардировки 1943-45 годов разрушили экономическую структуру Италии, Румынии, Германии, Японии, способствовали их военному поражению. Но тогда эффективный воздушный налет на город или промышленный центр требовал около тысячи дальних бомбардировщиков. После 1945 года положение переменялось.

1. Самолеты стали чудовщно дорогими, о прежних, тысячных воздушных флотах приходится забывать.

2. Система ПВО, благодаря усовершенствованным зенитным ракетам, истребителям, радиолокаторам, стала труднопроницаемой, самолету гораздо опаснее добраться до цели.

Равновесие нарушилось не в пользу воздушной дальней бомбардировки. Но вооружившись атомной бомбой, дальняя авиация вернула себе прежнее стратегическое значение. Появление атомного оружия оказалось чуть ли не исторической необходимостью. Эскадры современных бомбардировщиков обладают разрушительной мощью, приблизительно равной могуществу прежних многотысячных воздушных флотов. Стратегические ракеты — дальнейшее развитие ФАУ-1 и ФАУ-2 — оказались дополнением одноразового действия (только один боевой вылет).

Общая картина войны, по сравнению с 1939-1945 годами, изменилась очень мало. Только номинально, в теоретических единицах, разрушительная мощь атомного оружия представляется беспредельной. Беспредельным представляется и число американских бомб, сброшенных во Вьетнаме. Однако теоретическая величина далеко меньше практического результата.

В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях теоретическая мощность пороха была бесконечно больше силы простого штыка. Можно было доказать убедительными лабораторными опытами и на полигоне, что штыку не осталось места на полях войны. Так утверждала, например, австрийская бюрократия. Но в реальных — не на бумаге — сражениях Суворов и Наполеон опрокидывали противника атакой в штыки. "Пуля дура, штык — молодец" звучит ненаучно и грубо, но оказалось правдой, вопреки теоретическим доказательствам. Прошло еще 50 лет. К 1859 году, вооружившись чудом техники — дальнобойной винтовкой, австрийцы опять оказались под

гипнозом лабораторных формул: штыковая атака более немыслима. Однако Наполеон Третий вошел в Италию и объяснил своей армии: "Новое резное оружие опасно только издали! Оно не может уменьшить значения штыка, который по-прежнему остался страшным оружием французской пехоты". Битвы при Мадженте и Сольферино были выиграны французами.

Потом, в 1860-ые годы, солидные ученые авторитетно доказывали, что изобретение динамита делает невозможным ведение войны. И в 1930-ые годы серьезно утверждали, что в свете развития техники война просто немыслима. А в действительности Англия и Америка потеряли во Второй мировой войне меньше людей, чем от автомобильных аварий за то же время. Обыкновенный автомобиль оказался опаснее! "Научно обоснованные" выкладки, имеющие целью запугать ужасами войны, сплошь и рядом оказываются обыкновенной ложью.

"Применение атомной бомбы вызвало эмоциональные переживания, которые не способствуют правильному военному анализу" (Ли. "Воздушная мощь". М., 1958, стр. 28). Потери Дрездена и Токио от обычных бомбардировок превосходили урон от атомной бомбы; в каждом из этих городов погибло по 250 тысяч человек. В Хиросиме погибло 70 тысяч, разрушено 12 кв. км. города; в Нагасаки погибло 30 тысяч человек, разрушено 5 кв. км. города ("Действие ядерного оружия". М., 1960, стр. 81).

Говорят о "кнопочной" ракетной войне. Однако после первого обмена ударами вступают в силу испытанные законы и обычные силы ведения войны. Сотни, даже тысячи ракет, пронесутся, сея беспорядочное опустошение, но ничего не решат и ничего не выиграют. Специалисты полагают, что 50 % серийных боевых ракет взорвется в воздухе вскоре после старта, вследствие различных не обнаруженных дефектов и неисправностей. Остальные, в реальных условиях войны, упадут, в большинстве своем, далеко от цели, взорвутся над океанами, в пустынях, в лесах, над полярными тундрами. Опыт "сверхточной" стрельбы мирного времени значит очень мало. В мирное время из десяти пуль девять ложится в цель, а на войне, по статистике, — одна из десяти тысяч. Что-то подобное характерно и для более сложной техники. На основании мирных опытов утверждалось, что каждая управляемая зенитная ракета попадает в цель. Оказалось — ничего подобного. Процент попаданий падал до нескольких штук из ста.

Преувеличенная оценка атомного оружия — результат не научной объективности, а проявление обычного страха перед всякой войной.

Атомное оружие, как и отравленные газы, есть смысл применять, если у противника еще нет аналогичных видов оружия: применение газов Германией — 1915 год, атомной бомбы Америкой — 1945-ый. При возможности же реальных и немедленных репрессий применение подобного оружия просто невыгодно. Поэтому, вопреки всеобщим ожиданиям, химическое оружие не было применено в годы Второй мировой войны. То же можно сказать и о бактериологическом оружии; кроме того, при современном развитии медицинской техники эпидемия будет быстро нейтрализована.

Применение отравленных газов маловероятно. Отравить газами можно только очень ограниченную территорию – от силы один квадратный километр. Легковой автомобиль выбрасывает громадный объем ядовитых газов, не менее опасных, чем таинственные арсеналы сверхдержав. Однако вертикальные и горизонтальные потоки воздуха рассеивают опасную концентрацию. Это же постоянное движение атмосферных потоков рассеивает радиоактивный пепел, почти нигде не достигающий опасного уровня концентрации: пострадают лишь отдельные неудачники, попавшие в случайное скопление. Да и вообще, все военные и атомные арсеналы мира не имеют и десятой доли того объема отравляющих веществ, что ежедневно выбрасывают в воздух автомобили и заводы.

Распыление веществ, уничтожающих растительность, достижимо лишь на самой ограниченной площади; стоит указать на пример Вьетнама, где этим занимались американцы.

Еще меньшее значение имеет радикальное изменение погоды. Утверждают, что американцам удавалось вызывать дожди во Вьетнаме. Даже если это и не газетная утка, подобный фокус удавался:

1. На очень ограниченной площади (лишь на маленьком участке маленького Вьетнама).

2. И, главное, только в совершенно особых климатических условиях влажной тропической зоны, где воздух перенасыщен влагой и достаточно лишь небольшого толчка, чтобы вызвать дождь.

Во всяком случае, Советскому Союзу и Китаю, чье сельское хозяйство часто страдает от засухи, не удавалось создать искусственного ливня; не смогли сделать этого и американцы для собственного сельского хозяйства.

Таким образом, общая картина войны изменилась очень мало.

(Окончание следует)

РУССКИЕ ПРИШЛИ!

Под таким заглавием 22-ой номер "Континента" опубликовал заметки Кирилла Хенкина о третьей эмиграции.

Можно соглашаться или не соглашаться со взглядами автора, можно даже обвинять его в предвзятости, но, пожалуй, бесспорно одно: до сих пор не было напечатано ничего более серьезного и аргументированного на эту тему. Именно поэтому размышления Хенкина вызвали большой интерес.

Внимательно наблюдающие жизнь русской эмиграции не устают поражаться обилию странностей и раздоров. Взаимоотношения инакомыслящих между собой, их бесконечные перебранки и взаимобвинения, поразительно напоминают атмосферу, возникающую порой где-нибудь на московской или ленинградской коммунальной кухне.

Я полагаю, что Хенкин абсолютно прав, когда пишет о том, что от советских властей зависит не только отъезд того или иного человека, но и его будущее на Западе. Они решают "кто прославится, а кто останется в неизвестности. Кто уедет раньше и займет на Западе более выгодные позиции, а кто поспеет к шапочному разбору. Кто от чьего имени будет говорить!"

Двое диссидентов — очень разных как по возрасту, так и по взглядам (один из них, между прочим, не раз упоминается Солженицыным в "Архипелаге Гулаг"), рассказывали мне следующее. Перед отъездом их вызвали в ГБ и провели с ними последнюю "беседу". На прощание им откровенно сказали: "Учтите, что вам будет далеко несладко. Наши действуют и там!"

Судя по всему, слова гебистов были не пустой угрозой. Людей, о которых я пишу, Запад принял не слишком ласково. Кое-кто из приехавших раньше успел их оговорить, против них выдвинули необоснованные, голословные обвинения. Попытки восстановить справедливость не принесли успеха: их просто отказывались слушать. Достаточно показательно и то, что несмотря на долгие годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, им так и не дали выступить на Сахаровских слушаниях.

Разрешившие нам уехать не всегда оставляют нас в покое и здесь. В их распоряжении имеются разнообразные и сильнодействующие средства. Не хотелось бы приводить примера личного характера, но, кажется, он будет вовсе не лишним.

В конце 60-х — начале 70-х годов я принимал довольно активное участие в движении евреев за право выезда из СССР. За что в 1967-68 гг. провел более года в Лефортовской тюрьме, а в 1972 году, во время визита

Никсона в Москву, вместе со многими другими подвергся превентивному пятнадцатисуточному аресту. Покинув пределы СССР, я написал о последнем эпизоде статью, опубликованную в "Посеве" в 1973 году. Каково же было мое удивление, когда вскоре после этого в израильской русскоязычной газете "Трибуна" (вроде бы уже прекратившей свое существование) появилась статья, в которой утверждалось, что я всё выдумал и что, вообще, я... антисемит (!?).

Это обвинение показалось мне настолько абсурдным, что я не счел нужным на него отвечать: не доказывать же, что ты не верблюд! По-видимому, я ошибался. Любое напечатанное слово — огромная сила и, к сожалению, статья в "Трибуне" оказала на кое-кого определенное воздействие. Любопытно же то, что никто не принял во внимание, что ее автор подвизался в свое время в институте марксизма-ленинизма!

Да, много странного и непонятного творится в эмиграции! Однако умеющим думать и анализировать нетрудно увидеть полную закономерность в разного рода странностях.

Хенкин, очевидно, прав, когда указывает на то, что нынешняя эмиграция в немалой степени манипулируется советскими властями. Это сказывается, в частности, в том, что "быстро образуется прослойка полуэмигрантов-полусоветских, множатся ряды вчерашних привилегированных советских чиновников, внезапно сменивших место жительства и паспорт." Только не стоит преувеличивать и не надо делать поспешного вывода о том, что все эти люди играют некую роль, заранее запланированную Москвой.

В СССР, как и повсюду, хватает граждан с психологией служащих — лишенных каких-либо идеалов, готовых служить кому угодно и во имя чего угодно, лишь бы за службу хорошо платили. Многие советские служащие, прослышав о материальном превосходстве западной жизни, решили сменить место жительства.

Все государственные бюрократии, независимо от политического и идеологического устройства, любят эту породу людей — инакомыслящие и революционеры из этого человеческого материала не выходят. Поэтому не стоит удивляться тому, что бывшего работника идеологического фронта на Западе "ожидает работа, эквивалентная той, которую он делал в Москве".

Кто-то может сказать: ну что ж, они сменили взгляды. Э, бросьте, господа! У таких *взглядов* не бывает. Единственное же, что они действительно сменили, — это хозяина. А хозяин у них всегда тот, кто больше платит. В Москве об этом отлично знают и поэтому, при известных обстоятельствах, там могут вспомнить о ком-нибудь из своих бывших служащих...

Когда речь идет о Советском Союзе, всегда нелегко с цифрами. Хенкин же смело заявляет: "Примерно у 60 процентов уехавших в деле еще лежит письменное обещание честно сотрудничать с советскими органами

разведки." Хотелось бы знать, на каком основании он вычислил такое большое число потенциальных шпионов? Они наверняка есть, но зачем швыряться столь впечатляющими числами?

Шпиономания иногда не менее вредна, чем легкомысленная и безрассудная доверчивость. Думаю также, что далеко не каждому эмигранту надлежит следовать совету Хенкина и вопрошать себя: "Зачем меня выпустили? Чего от меня, без моего ведома, ждут?"

Имеется нечто паранойяльное в утверждении, что все "мы являемся бессознательным орудием и в то же время объектом операции огромного масштаба, частью общего плана советской политической экспансии". Позвольте усомниться в том, что в Кремле взвешивали будущую полезность каждого уезжающего бухгалтера или домохозяйки!

В заметках Хенкина встречаются и другие натяжки. Тем не менее, в целом, несмотря на сгущенность красок и излишнюю категоричность суждений, они полезны и своевременны, ибо призывают нас переосмыслить превратности нашего эмигрантского бытия. И еще: не будем забывать о том, что длинны и сильны руки у матушки Софьи Владимировны!

Калифорния, США.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: РИСК БЕЗ РИСКА

Можно ли предлагать простые рецепты для решения сложных задач? На первый взгляд, такой подход кажется сомнительным. Но психология, символом которой является разруаемый Гордиев узел, столь же органически присуща человеку, как и его стремление находить для усложненных проблем адекватные методы. Гордиевых узлов в современной жизни общества более чем достаточно. Не все они могут быть разрублены. Однако те, которые *могут*, должны подвергнуться удару меча. Тем более, если это – в социальной сфере – не меч разрушительной революции, а скальпель социальной медицины; не взрыв общественного правопорядка, а наоборот, его совершенствование; не ситуация анархии, а становление своего рода "социальной инженерии".

Этот термин несет в себе смысл, который приводит к риску без риска. Социальная инженерия есть нечто меньшее, чем социальный утопизм, но большее, чем простое реформаторство. Она берет целенаправленность утопии, но заземляет ее реализмом предлагаемых решений; она исходит из необходимости *даже мелких* реформ, но не теряет из виду *большой* перспективы. Она оперирует идеями, которые могут реализоваться немедленно, но знает, что реализация их во многом определит будущее...

Недавно группа канадских граждан, действующих по собственной инициативе и пока что без поддержки каких-либо правительственных инстанций, политических партий, меценатов и т.п., предложила любопытный проект. Его можно охарактеризовать как проявление социальной инженерии, способное радикально исцелить острые проблемы современной Канады: безработицу, инфляцию, спад экономической активности, а, говоря шире, решить проблемы труда и отдыха нынешних канадцев на срок примерно до конца двадцатого века.

Предлагаемое решение носит простое и почти религиозно звучащее название: "Свободная Пятница". Что же это такое?

Современная канадская экономика болезненно реагирует на кризисные явления, характерные для мировой экономической структуры в целом. Уровень безработицы колеблется в рамках одного миллиона человек, падение канадского доллара на внешнем рынке перемежается с ростом цен внутри страны; инфляция, налоговое бремя и правительственные расходы усугубляют положение. Ни либералы, ни консерваторы, меняющие друг друга у власти, не имеют четкой экономической программы. Новая Демократическая партия подменяет таковую звучной риторикой. Краткосрочные меры регулирования экономической жизни дают в лучшем случае краткосрочный эффект. В худшем – не дают его совсем.

Для того, чтобы исцелить большую экономику, нужен могучий толчок, новый стимул для производства. Одни только финансово-экономические средства не способны сдвинуть дело с мертвой точки; в период экономического спада необходим некий *социальный* возбудитель. Он должен оживить социально-экономическую жизнь в целом, вызвать подъем и обеспечить предельную занятость на рынке труда. Подобный процесс можно вызвать смелыми нововведениями в социально-трудовом законодательстве, которые опирались бы на достигнутый уровень экономического развития, но одновременно стимулировали бы это развитие дальше.

Канада — одна из самых передовых промышленных держав мира, фактически вступила в стадию постиндустриального общества, когда программирование, прогресс кибернетики и автоматизация производства изменили соотношение машинного и человеческого факторов в сфере труда. Законодательство же в этой сфере основывается на представлениях, характеризующих более раннюю стадию экономического прогресса.

XX столетие было свидетелем того, как 8-часовой рабочий день — в прошлом мечта профсоюзных активистов и социалистических лидеров — стал бесспорной реальностью. Вслед за этим восторжествовал принцип 40-часовой рабочей недели с выходными по субботам и воскресеньям. Время досуга после трудовой недели увеличилось; система производства приспособилась к этому графику и, подобно изменению метрических систем, какие-либо вариации с данной схемой могут показаться обременительными. Между тем, изменить ее настоятельно нужно — в сторону расширения свободного времени и, одновременно, в сторону реконструкции трудового ритма на производстве. Такого рода двуединую формулу и выдвигает "Ассоциация Свободной Пятницы", возникшая в сентябре 1980 года в Торонто.

Суть программной хартии этой Ассоциации в следующем:

1. Федеральный парламент Канады принимает закон о труде, устанавливающий максимальный потолок недельного рабочего времени в 32 часа. Пятница становится свободным днем, присоединяясь к субботе и воскресенью. Заработная плата рабочих и служащих остается на существующем уровне, т.е. свободная пятница оплачивается как полный трудовой день.

2. Все резервы рабочей силы Канады разделяются на две категории: полностью занятых на производстве (тех, кто работает с понедельника до четверга включительно) и занятых частично, которые принимаются на работу, чтобы обеспечить производственный процесс в пятницу.

3. Провозглашается принцип непрерывного рабочего процесса. Предприятия и учреждения начинают работать всю неделю, включая субботу и воскресенье. Частично занятые работники получают, таким образом, работу на 24 часа или на три полных дня (пятница, суббота, воскресенье), играя роль заменителей тех, кто считается полностью занятыми в другую часть недели. Частично занятые работники приобретают все права и социально-страховые привилегии, которые предусмотрены законами страны и коллективными договорами между профсоюзами и предпринимателями. (Исходя, конечно, из расчета, что они работают на день меньше). Сверх-

урочные часы оплачиваются на равных основаниях как работникам первой, так и второй категории.

4. В связи с резким увеличением спроса на квалифицированных рабочих и служащих создается Комитет социально-промышленной реконструкции, обязанный готовить специалистов, необходимых для работы в категории частично занятых.

5. Конкретные этапы перестройки производства и работы учреждений могут варьироваться в каждой провинции Канады в соответствии с местными условиями и законами, принятыми провинциальными парламентами.

6. Агитация за Свободную Пятницу и связанную с ней реформу трудовых отношений будет вестись путем сбора подписей под Хартией, которую затем Ассоциация предложит Федеральному парламенту Канады, а также Федеральному правительству.

Такова "социально-инженерная" идея "Ассоциации Свободной Пятницы". Ей не откажешь в дерзости и захватывающих перспективах. Интересен и сам внутренний ход этой идеи: предлагая вначале сократить рабочую неделю на один день, она затем выдвигает требование непрерывной рабочей недели. Эта своеобразная "рокировка" лучше всего подчеркивает социально-инженерную суть выдвигаемого принципа — сокращение рабочего времени конструктивно перекрывается невиданным увеличением объема производства и трудовой активности вообще.

В данный момент трудно представить себе все открывающиеся возможности как в сфере промышленности, так и в социальной жизни общества. Разумеется, нужны будут конкретные экономические обоснования и статистические выкладки для оправдания идеи "Свободной Пятницы", а также для устранения казусных случаев и препятствий, которые, конечно, могут возникнуть. В любом деле есть свои казусы, но не любое дело о них спотыкается. Ясно одно: перспективы промышленно-экономического бума и полного рассасывания безработицы, интенсификации оборота капиталов, роста индустрии туризма и досуга вообще, изменения социальной психологии массы людей, сокращение расходов на Вэлфар и ряд правительственных программ, с ним связанных, возможности ослабления налогового прессы — всё это столь заманчивые факторы, ради которых имеет смысл экспериментировать.

Скептики скажут, что экспериментирование в социально-промышленной сфере дорого стоит. Верно. Однако бездействие и стагнация стоят дороже. Можно смириться с мыслью о необходимости содержать миллион канадских безработных, а можно добиться того, чтобы появился спрос едва ли не на миллион дополнительных рабочих рук. В этом случае и нынешняя иммиграционная политика Канады получит реальное обоснование, и помощь со стороны Канады "третьему миру" будет не сомнительным альтруизмом, а реальной прагматической задачей. Идеалистическая риторика сменится рациональным экономическим сотрудничеством, которое будет гарантировано увеличением канадского промышленного производства и общим ростом уровня жизни в Канаде.

В условиях полной занятости рабочего населения покупательная спо-

способность его предотвратит перепроизводство товаров – во всяком случае, на обозримый период последнего двадцатилетия XX-го века. Изменившийся цикл рабочего времени, необходимость подготовки квалифицированных кадров рабочих и служащих потребуют гигантских инвестиций, что приведет к оживлению банковской активности. Мощный толчок получают программы организации свободного времени, ибо досуг людей станет не менее важной задачей для его организации, чем руководство производством. Можно представить себе, какой стимул обретут туризм, телевидение и кинопромышленность, различные отрасли искусства и науки, сфера обслуживания. Люди смогут работать, не уставая, и отдыхать, не переработав.

Всё это звучит как утопия, однако это – реальность, которая содержится в самих потенциях нынешнего канадского общества. Конечно, только высоко организованная социальная структура может выдержать перестройку, связанную с идеей "Свободной Пятницы". Технологический уровень канадской промышленности, ресурсы страны и традиции прошлого развития Канады являются весомым аргументом в пользу социальной инженерии. Элемент же риска практически ничтожен. Ведь если предположить, что идея "Свободной Пятницы" на практике почему-либо не "срабатывает", то – воплощенная в жизнь законодательным образом – она таким же образом может быть отменена.

Преимущества "социально-инженерного" подхода к решению нынешних проблем канадского общества заключаются и в том, что они удовлетворяют интересы как рабочих, так и предпринимателей, как людей, выброшенных сейчас из сферы трудовой активности, так и тех, кто чрезмерно обременен ею. Могут сказать, что идея "Свободной Пятницы" – это социализм, однако было бы ошибкой наклеивать на конструктивно-рабочую теорию ярлык идеологической принадлежности. Идея "Свободной Пятницы" в той же степени несет в себе элемент социализма, сколь и разумного консерватизма. Она апеллирует к рабочим и к предпринимателям; предлагает профсоюзам возможности, которые не перечеркивают интересы корпораций. В полном смысле слова эта идея вписывается в образ государства всеобщего благоденствия, и если в этом заключается социализм, то она социалистична. Только в этом смысле.

Некогда Эйнштейн сказал об одной гипотезе, что она "недостаточно безумна", чтобы быть истинной. Блестящая парадоксальность такого высказывания не ограничена сферой физики. И в социальной области смелость идей может оказаться конструктивным, а вовсе не разрушительным фактором. Идея "Свободной Пятницы" в этом плане отмечена как заманчивыми перспективами, так и реалистическими возможностями. Упустить эти возможности значит отказаться от воплощения шанса на реальный, а не мнимый прогресс. Шанса, который имеет не только Канада, но и другие высокоразвитые государства свободного мира. Кто знает: может быть, именно идее, рожденной на канадской земле, суждено стать поворотным пунктом в социальном развитии демократического общества конца XX-го столетия? Кто знает?..

ПОДТЯНЕМ САТИРУ!

Недавно минская белорусская газета "Литература и Искусство" сообщила, что на одном из заседаний Союза Писателей Белоруссии зашла речь о "причинах отставания юмора и сатиры" у подсоветских литераторов. Из отчета об этом заседании видно, что никто не замкнулся об истинных причинах "сатирического отставания". Позволим себе пояснить их...

К. АКУЛА

Товарищи! Едва не плача,
хочу про юмор вам сказать.
Наша великая задача —
его агиткой обуздать.

Клянусь я Маркса бороною,
что с юмором у нас — завал.
Никак не вылезет с застою,
в нем кто велик — и тот лишь мал.

Известно, что ни Маркс, ни Сталин,
ни указанья Ильича,
ни даже Брежнева сказанья
не разъяснили нам с плеча,

что значит юмор и задачи
партийные, черт их возьми!
И как сказать нам чётче, кратче,
чтоб мы работали с людьми!

Людей мы пичкаем брехнёю,
пихаем молодежь на БАМ,
идеологии стезёю
вздымаем застарелый хлам.

И "родной партии" капризы
мы славим вдоль и поперёк.
Мы — стукачи и сверхподлизы,
здесь нас никто не превозмог!

Мы в щекотливом положеньи:
ведь первый юмора объект —
сверхпреуспевший в положеньи
и сверхпартийный дармоед.

Вот наплевать бы в это рыло!..
Да черт возьми!.. Перо свербит.
Напишешь — тут тебе могила
и твой, весьма посмертный вид.

Буржуй партийный сел на плечи
и душит так, что — ни вздохни!
Народ молчит и не перечит,
и злость не выскажешь — ни-ни!

Друзья мои, клянусь, я верю,
что даже Торба-суеслов
не смог бы описать потерю
свершений, дел и крепких слов!

Не вижу "подвигов" картины
на сатиричном полотне.
Дубасят цензора дубины
и "директивно" тошно мне.

Нам воли треба, чтоб сатирой
был уничтожен мелкий бес
и чтоб партийный тот придира
нам на загривки не залез.

Тогда московские все рыла
согнули б мы в бараний рог.
Была бы Партии — могила,
народ воскрес бы — дай-то Бог!

(Перевод с белорусского)

... Х Р О Н И К А ...

* * *

С 30 августа по 1 сентября этого года в городе Кливленд (США) проходил съезд белорусов Северной Америки. В государственном университете Кливленда была организована научная конференция, посвященная проблемам белорусской истории (450-ая годовщина Статуса Великого Княжества Литовского). С большим успехом прошли концерт и другие мероприятия. Участники съезда приняли резолюцию протеста против нарушения национальных и человеческих прав в советской Белоруссии. От имени "Современника" на съезде присутствовали: К.И.Акула, А.Г.Гидони и Г.А.Румянцева.

* * *

В двух номерах украинской газеты "Свобода" (апрель-май) напечатана статья Главного редактора "Современника" А.Г.Гидони "От Кабула до Киева".

* * *

В июне сего года Л.Е.Фабрициус обратился с просьбой об освобождении его от обязанностей члена Редакколлегии "Современника". Просьба г-на Фабрициуса удовлетворена.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "БЕЛОРУС"

Выражаем глубокое соболезнование в связи с кончиной Главного Редактора газеты "Белорус" д-ра СТАНКЕВИЧА. Память о нем — талантливым журналисте и стойком борце за белорусское национальное дело, будет всегда жить в наших сердцах.

Редакция "Современника"

Редакция "Современника".



Библиография

ЮРИЙ ГРИГОРОВ. "Голос Зарубежья", № 13-17 (1979-1980 гг.).

Репутация рецензируемого журнала упрочена и нам нет необходимости повторяться, давая ему общие оценки. По частностям же разобрать все материалы, помещенные в пяти номерах, невозможно. Мы должны поэтому прибегнуть к определенной систематизации, отделяя чисто политические статьи от других, носящих более специальный (экономический, философский, литературный и т.д.) характер.

"Голос Зарубежья" № 13 предлагает читателю большую и очень умную статью В.Пирожковой "Парадоксы". Объектами ее критики — местами необыкновенно сильной — оказываются А.Зиновьев, с его печально известным тезисом о "народности" советской власти, а также авторы журнала "Русское Возрождение" В.Машкова и Л.Бородин, проповедующие "русопятство", доведенное до тошнотворности. Повторим: критика Пирожковой настолько убийственна, что от ребячески-расистского лепета Бородина, к примеру, мало что остается. И лишь одно пожелание закрадывается в душу, умеряя восхищение статьей: если бы пафос Пирожковой против нелепых апологетов "русскости" распространить и на признание прав национальностей, угнетаемых ныне советско-российской империей! Цены бы такому пафосу не было!.. Увы, именно в этом пункте В.Пирожкова, да и редазируемый ею журнал, пасуют...

Как обычно, интересны статьи А.Федосеева ("Осторожно! Ловушка!" в № 15, "Credo" эмигранта и мировая обстановка" — № 16, "Мировоззренческая суть программы НТС" — № 17). Его разбор концепции "солидаризма" остроумен и полезен. Что же касается общей установки Федосеева в критике им коммунистической теории-практики, то, на наш взгляд, она ослабляется его крайней неприязнью ко всему "социалистическому". Такая позиция неизбежно ведет к сектантской борьбе за чистоту "антикоммунистических риз" любой ценой, без учета современной реальности. Принципиально говоря, валить в с е ех социалистов в одну кучу с коммунистами глупо, а в тактическом плане — это лишь на руку коммунистам.

Из пишущих по вопросам политики на страницах "Голоса Зарубежья" господ Кобылин и Нефедов вряд ли делают честь уровню журнала: и грамотность их хромает, и какая-то исступленность тона заставляет насто-раживаться, даже когда они вроде и правильные вещи говорят.

К слову — о том, что "правильно" и что нет... Позволим себе такое отступление. На страницах "Голоса Зарубежья" часто мелькало имя Дмитрия Дудко, столь печально прославившего себя недавно публичным предательством. Большая часть авторов журнала (например, Владимир Ру-

динский) его защищали, тогда как некоторые (и-н Войцеховский) нападали на него, подозревая в нем провокатора. (В № 14, в письме в редакцию под названием "Загадка", он писал об этом весьма прозрачно). Ныне события как будто подтвердили "правоту" Войцеховского: Дудко вел себя позорно "на публике", а его предательские показания в кабинетах чекистских следователей принесли, по-видимому, еще больший вред. И, однако, мы хотим подчеркнуть гуманную правоту В.Рудинского, стремившегося поверить человеку, который внешне, казалось, источал доверие. В.Рудинский ошибся в конкретном случае и в конкретном индивидууме, но был прав в защите принципа веры в возможность сопротивления советскому режиму. Господин же Войцеховский, известный своей склонностью к "шпиономании", случайно угодил в точку на этот раз, однако его хобби – видеть повсюду "провокаторов", а под предлогом этого отрицать саму возможность борьбы против Советов, нашей симпатии не заслуживает. Как не заслуживают ее грубые выпады Нефедова (статья 15-го номера "Ольга Берггольц... Е.Евтушенко... К.Паустовский) против советских писателей лишь по причине их "подсоветскости".

По боевому темпераменту и четкости антикоммунистической позиции следует приветствовать появление на страницах "Голоса Зарубежья" дискуссионных материалов Дмитрия Панина и Авраама Шифрина. Зато В.Ингул начинает разочаровывать: если в № 13 (заметка "Ночью и днем") он справедливо предостерегает от увлечения "национал-коммунизмом", то в номере 16-ом его полемика против Д.Панина беспомощна и в высшей степени двусмысленна. С одной стороны, он против "эволюционной, по сути, точки зрения большинства диссидентов" (стр. 33), с другой – он против антикоммунистической революционности в стиле Панина и других. С кем же он тогда?.. Редакция "Голоса Зарубежья" правильно поступила, оговорив свое несогласие с В.Ингулом и напечатав его материал как дискуссионный.

Зато с полным одобрением встречаем мы на стр. 38 семнадцатого номера "Голос русского владовца" (подписано: Инж. П-полк. РОА К.Попов). Это призыв к действительно конкретным действиям: к подготовке создания национальных русских вооруженных сил для борьбы с советским режимом. И каким бы утопичным ни казался скептикам и мещанам эмиграции этот призыв, как бы ни отмахивались от него "детантисты" и "эволюционные диссиденты", эта проблема еще встанет во весь рост. Обращает на себя внимание и та интерпретация, которую дает К.Попов "Пражскому Манифесту", провозгласившему "воссоздание правового строя и самоопределение освобожденных народов России в п л о т ь д о в ы д е л е н и я." (Разрядка наша – Ю.Г.). Указывая далее, что есть "немало россиян, не приемлющих этого параграфа Пражского Манифеста," – автор говорит: "...лучше жить нам, русским, в свободной и правовой с о б с т в е н н о р о д и н е Р о с с и и (Разрядка моя – Ю.Г.), чем мыкать горе по многим странам мира."

Откровенно говоря, давно мы не встречали столь трезвого отношения людей из "второй эмиграции" к "больному" национальному вопросу! Право же, в одной этой ремарке К.Попова больше здравого смысла и благородства, чем во всех напыщенных тирадах В.Рудинского, кричащего, что ни "куска России" (читай — СССР!) "мы никому не отдадим".

Кстати, насчет обзоров Владимира Рудинского. Полезность их в целом сомнений не вызывает. Точно так же бесспорны ум, наблюдательность и талант их автора. Но ведь до какой степени портит он эти качества своей узкой "партийностью"! Конечно, она — эта "партийность" — монархическая и антибольшевистская по субъективности своей, но по "модели мышления" это, простите, всё та же однолинейная "советчина". Почти нет ни одного суждения, которому В.Рудинский ни придал бы л о д т е к с т а в зависимости от своих монархических и единовременских комплексов. Скажем, цитирует он в номере 17 (стр. 31) совершеннейшую банальность из В.Розанова и называет это "блестящим размышлением". Зато действительно блестяще и изящно и писатель Г.Федотов для Рудинского — "великий блудодей мысли" (№ 16, стр. 21). Да и такого отличного публициста, как Г.Померанц, Рудинский атакует тем более яростно, чем менее он убедителен в своих нападениях.

Есть и другая, так сказать, "перманентный" недостаток обзоров В. Рудинского (присущий, впрочем, многим эмигрантским авторам): он удивительно много внимания уделяет придиркам ко всевозможным опечаткам, орфографическим тонкостям, транскрипции иностранных имен и к прочим трепьестепенностям. Делает он это с таким "смаком" и "размахом", что на разговор о более важных вещах его уже не хватает. Мы понимаем, что в журналистике и литературе следует обсуждать даже побочные тонкости, но меру при этом надо соблюдать зело! Недаром же в книгах списки опечаток помещают в самом конце, а не после титульного листа, предположим. Кстати, заметим, что многие советы В.Рудинского насчет транскрипции, например, являются очень сомнительными.

Так, в № 13 (стр. 35) Рудинский пишет: "В статье А.Дружинина "Солженицын и Киссинджер" проницательны насмешки над Киссингером (не будем писать фамилию немецкого еврея через дж, идущее ему, как корове седло!)... Поблагодарив В.Рудинского за "свежее" к о р о в о - с е д е л ь н о е сравнение, заметим, однако, что транскрибировать иностранные имена с максимальной близостью к их произношению (в данном случае, американцами и англичанами) — путь наилучший. Некогда в советской печати фамилию Киссинджера транскрибировали именно так, как это предлагает Рудинский. Однако транскрипция эта не прижилась (да к тому же у читателей возникала путаница с именем западногерманского канцлера К и з и н г е р а). По аналогии — фамилии знаменитых американских историков Шлезинджеров (старшего и младшего) раньше передавали на русском языке написанием Ш л е з и н г е р, а сейчас добиваются фонетического соответствия. И чем же это плохо, спрашивается? Почему англо-амери-

канское произношение надо переделывать на "немецкий лад", а затем объявлять это наиболее пригодным для русского слуха и глаза? Правила транскрибирования вообще условны и переменчивы, так что живая практика здесь лучший наставник, чем педантическая приверженность к старым шаблонам. Иначе, чего доброго, придется нам — на манер XV111 века — транскрибировать Испанию как Г и ш п а н и ю, а Дидро как Д и д е р о т а!

Впрочем, мы рйскуем, по примеру Рудинского, увязнуть в пустяках, если будем продолжать данную тему. Переходя к более серьезным вещам, отметим как позитивное явление то, что "Голос Зарубежья" уважительно относится к памяти ушедших из жизни писателей и публицистов. Вполне естественно, что журнал посвятил в двух номерах (15 и 16) ряд материалов И.Е.Сабуровой, бывшей секретарем "Голоса Зарубежья". Она и как писательница заслуживает дальнейшего изучения. Точно так же весьма полезны публикации статей покойного Анатолия Кузнецова, и В.Пирожкова справедливо отметила, что в его лице мы потеряли "убежденного антикоммуниста", смерти которого "советские коммунисты радуются наравне с некоторыми "диссидентами" (№ 14, стр. 11). Большая литературная статья В.Ильина "Плеяда предшественников символизма" (№ 14 и 15) производит несколько случайное впечатление на страницах и м е н н о "Голоса Зарубежья", но в принципе она имеет свой интерес.

Нельзя также не отметить и работы Доры Штурман. В № 13 ее "Ленин. Детали этико-психологического портрета" вызывает немало размышлений. В 17-ом номере статья "Американец на randevу с Россией" посвящена разбору книги Хедрика Смита "Русские". Poleмика Доры Штурман против Смита скорее бойкая, чем глубокая, однако немало ее замечаний представляются актуально-полезными.

Подводя итоги нашего обзора, укажем на бесспорное улучшение в журнале дискуссионной части, особенно рубрики "Письма в редакцию". Она стала более гибкой, широкой, пропуская на свои страницы не только материалы, совпадающие с "линией" редакции, но и действительно независимые по духу. Это явный признак "мужания" журнала, и нам остается лишь пожелать дальнейшего прогресса ему.

ВСЕВОЛОД РУНИН. Гюзель Амальрик. Воспоминания о моем детстве. Письмо из Сибири. Амстердам, "Фонд имени Герцена", 1976.

Если бы автор книги не была женой Андрея Амальрика, то эту книгу никто не стал бы печатать. Добавим, что не будь книга напечатана, читатели ничего не потеряли бы. С этих бесконечных "бы" поневоле приходится начинать рецензию, имея дело с неинтересными воспоминаниями очень неинтересной личности.

Необязательность, ненужная навязчивость и какая-то ментальная нечистоплотность описаний столь тесно переплетены в мемуарах Гюзель Амальрик, что книгу хочется порой брезгливо отодвинуть в сторону. Сразу же спохватываешься, впрочем, упрекая себя за "несовременность" вкуса. Действительно, имея перед глазами разгул похабщины в современной эмигрантской литературе (в диапазоне от утонченного вроде бы Аркадия Львова до простецки-невежественного Алешковского), стоит ли удивляться тому, что Гюзель Амальрик использует вульгарные выражения там, где их прежде легко избегали? Учитывая, что она напечаталась по времени раньше Лимонова, Алешковского или Юрьенена, ее, пожалуй, можно считать лишь дерзкой "провозвестницей": грубости ее языка довольно умеренны (все-таки женщина!). Удручает нас не столько грубость, сколько названная беспомощность в передаче тех "тонких" ощущений (как правило, похотливо-сексуальных), которые она тщится передать.

Система какого-либо отбора в описаниях у Амальрик почти отсутствует: что вспомнится ей, то она и "живописует". Вспомнилось о проблеме русско-татарских отношений, и она говорит, что "продолжала ненавидеть русских за их ненавистничество" (стр. 49); подумалось о мужчинах — и тут же "лепит" она описание школьного учителя, всё составленное из литературных "красивостей" (стр. 119). А то вдруг начинает подробно рассказывать, как на фисгармонии "научилась играть... собачий вальс, быстрый такой, та-та-та та-та, и еще "Чижик-пыжик", где ты был?" (стр. 107-108). Рассказывается это с совершенной уверенностью, что читателю интересно, как она играла "та-та-та" ("без нот!" — добавляет Амальрик, будто по меньшей мере она научилась играть "Патетическую сонату" Бетховена).

Каждый из нас когда-то осваивал азбуку, но вряд ли каждый станет писать об этом в книгах (без каких-либо о с о б е н н ы х оснований на то). А Гюзель Амальрик ничтоже сумняшея — пишет. Довелось ей прочесть в детстве "Приключения Тома Сойера" или "Принц и нищий" Марка Твена — и кормит она бедного читателя такой "глубокой" сентенцией:

"... В этих книгах как бы сам участвуешь, тут всё просто, без какой-то тенденциозной направленности, при случае можешь встать на сторону отрицательного, при случае другом можешь и за положительного героя переживать, ты волнуешься за всех героев, ничего не упускаешь, когда читаешь. Наряду с этими книгами я запомнила еще почему-то "Как закалялась сталь" Н. Островского. Павка Корчагин мне понравился потому, что этот положительный герой был искренним..." и т.д. (стр. 58-59). И тут же следует "совет писателям": "мне кажется, что писать нужно проще и естественнее" (стр. 59).

Прочтешь такое и руками развести остается. Ведь это же язык и уровень мыслей комсомолки-десятиклассницы, выступающей на читательской конференции в каком-нибудь колхозном клубе. Но даже советские издательства не станут печатать в качестве книг школьные сочинения. А "Фонд

Герцена" в Амстердаме ничего — печатает! Как же? — Ведь "диссидентка" пишет, и жена "знаменитого диссидента" к тому ж!..

Стоит ли удивляться после этого другим "перлам" в книге Г. Амальрик? Так, на странице 38, подробно перечислив детские игры во дворе своего дома, она многозначительно добавляет: "Много у нас было игр, перечислить их просто невозможно, это можно (обратите внимание, читатель, на стиль! Чего стоит это соединение "невозможно" и "можно"! — В.Р.) составить специальную книгу о детских играх пятидесятих годов". Конечно, всё можно. В том числе, написать книги о детских играх тридцатых и сороковых, шестидесятых и семидесятых годов. Только зачем и кому нужны такие книги? Семейно-альбомное, "дневниковое" мышление Гюзель Амальрик так и прет из этой фразы. Вот и писала бы она себе в дневник, а не тревожила бы "Фонд Герцена". Поневоле вспоминается шутка из советского анекдота, где герценовские "Былое и Думы" были переименованы в "Былое и Д а м ы". Ох, уж эти "дамы"!

Когда Амальрик случается говорить о более серьезных вещах, нежели детские игры, она изъясняется с присущим ей "изяществом". Вот, к примеру, рассуждения о политике и искусстве на стр. 139: "Поскольку наш великий Советский Союз поворачивается к Западу то лицом, то задом, то и авангард живописный, складывающийся под влиянием западного искусства, у нас то появляется, то исчезает". Далее, отдав "должное Хрущеву", который-де "прорубил окно в Европу", она варьирует в р и ф м у вариации на тему "зада", которым поворачивается Советский Союз. Но для полной цитаты здесь нужна смелость того же Хрущева, или, допустим, Алешковского... А я умолкаю...

Скажу лишь, что "волнительная" тема "зада", то ли по ассоциации с Хрущевым, то ли со Сталиным, является у автора почти "приемом обрамления": с нее начинается книга, ею же она и заканчивается. Посему позволю себе выразить уверенность, что книжка Амальрик, абсолютно не интересная для нормального и культурного читателя, может представить свой интерес для психиатра...

ЕВГЕНИЙ ВЕРТЛИБ. Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830-1850. М., "Наука", 1978.

Примерно через полтора века после возникновения славянофильства не так давно вышло первое довольно систематизированное исследование его. На пятистах страницах книги, охватывающей в основном период "истинного славянофильства" с 1838/39 по 1861 гг. — три тематических раздела: публицистика, теоретические изыскания и художественное творчество наших "туземцев или самобытников". Уже во вводной статье как бы усстраивается авторитет Бердяева по этому вопросу — за замкнутость замыс-

ловатой тавтологии, неразбериху: или народничество — "порождение славянофильства", или само славянофильство уже представляло собой "патриархальное народничество"? Однако козырнув мнением американского ученого Христоффа, не разделяющего "стереотипных представлений" бердяевцев, авторы сборника вынуждены признать, что тот же славист испытал горькое разочарование от работ советских коллег по этой теме. Хотя с 1940 года в СССР дискутируется славянофильская проблематика, но воз и ныне там. Только с 1969 года к славянофилам стали чаще относиться как к консерваторам, а не охранителям. Этот сдвиг с мертвой точки, когда с учения славянофилов потихоньку соскабливаются казенные девизы (герб графа Уварова), приводит к неожиданным открытиям: оказывается, сам Ленин, говоря о Толстом, цитирует характеристику русских крестьян вроде бы по-бердяевски, как наивных, о т ч у ж д е н н ы х о т п о л и т и к и, мистичными, желающими уйти от мира... Так что вопрос В.И. Кулешова в его книге 1976 года "Славянофилы и русская литература" (моя рецензия на нее — в "НРС" от 22 октября 1978 г.) — о роли православия в мире идей того времени — постепенно решается своеобразно. Но если Николай 1 лично руководил допросами Ивана Аксакова и Юрия Самарина, арестованных в 1849 году, то формула "самодержавие, православие, народность", истертая злоупотреблениями, больше не работает на дискредитацию славянофильства. Правда, эти нечаянные радости, видимо, позволяют в туиковых ситуациях, ради обогащения советской методологии — как бы, никто из властей не посягает на "русское платье", дескать, речь идет только о бородах, мешающих служить... И все-таки эта метафория-бутафория характерна. Говоря словами К. Аксакова, "настала строгая минута для России. России нужна правда. Медлить некогда..."

Крайности размагничиваются и сходятся. "Голос истины, — утверждал И. Киреевский, — не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является истинного иде бы то ни было". В конце концов, и западники с уходом из жизни славянофилов потеряли противников, которые были ближе им многих своих. То, что одни принимали за воспоминание, другие называли пророчеством. Впрочем, финальный свисток вступления возвращает нас на круги свои. Говорится: "По странной филиации идей отдельные пункты славянофильской доктрины вызывают симпатии и у некоторых (правда, очень немногих!) представителей советской интеллигенции. История не возвращается вспять. Об этой непреложной истине словно бы позабыла группа литературных критиков и публицистов журнала "Молодая Гвардия", на свой лад стремившаяся воскресить славянофильское противопоставление патриархальной деревни промышленному городу и вслед за тем объявить крестьянство единственным во все времена, а стало быть и сегодня, хранителем и выразителем "народных" чаяний и убеждений..." Рассмотрим смысл этой ключевой установки.

"Молодая гвардия рабочих и крестьян" — из песни слова не выкинешь! — начала ту линию, которую назовет один из случайных зачинателей реаби-

литации славянофильства А. Янов — "диссидентской правой". Эта оппозиция (цитирую М. Агурского) представляет собой сложный спектр явлений, включая критический пересмотр советской истории, принципов советской общественной жизни и даже политики. Так, главный редактор "Нашего Современника" поэт Сергей Видулов выносит суровый приговор коллективизации: пользуясь игрой слов, говорит о "годе великого перелома", как о переломе костей. Петр Проскурин в романе "Имя твое" (1977 г.) ставит вопрос по существу о том, сбить ли нечеловеческих жертв народа амбиции СССР стать сверхдержавой. Именно так открыто толкует суть этого повествования критик Шагалов. Поэт Егор Исаев в поэме 1978 года символизирует страдания русского народа в советский период в образе Кремень-слезы. Мужики находят в лесу окаменевшую огромную слезу и рассуждают о том, кому она принадлежит. В конце концов сходятся на том, что слеза — вековая, мужицкая: и старая и новая... В этом же ряду и Василий Шукшин (см. мою статью "Чем люди живы и чем мертвы?" в № 45-46 "Современника"), о котором упомянул, кажется, Солженицын в скандинавской прессе. Кстати, в майской беседе с Хилтоном Крамером Александр Исаевич назвал еще Носова и Белова. Так что какие там "единицы"?!

Официозу бросается вызов со стороны по крайней мере трех оппозиционных идеологий: "подлинного марксизма-ленинизма", "христианской идеологии" и "либеральной" — от Солоухина до Шевцова. И вовсе не случайно Солженицын в интервью с И.И. Сапигтом (февраль 1979 г.) поразился успеху "и м е н н о н а г л а в н о м с т е р ж н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы, который в советской критике полупрезрительно называют "д е р е в е н с к о й л и т е р а т у р о й" — а на самом деле это труднейшее направление работы наших классиков." И понятна его боль за доверчивую профессуру, записывающую в блокноты: "Деревенская литература находится в упадке". Это сейчас, когда она в расцвете. Уподобляют православие ленинской идеологии, "персидскими трюками" отождествляя православие с антисемитизмом (Пуришкевич, Крестовский, выходки Пикчуля и т.п. — это рецидив болезни нашей), подливая масла в огонь повсеместно усиливающейся кампании русофобии — до налогового совета Файферами Солженицыну "писать только романы", чтобы не рухнула "научная" параллель между системой местничества в Московской Руси и применением галоперидола и аминазина в психотюрьмах. "Умеренный и аккуратный" ветер века веет в языческой мистике. Это, по гипотезе М. Бернштама, — реакция на происходящее духовное возрождение России. Это есть один из симптомов мирового предчувствия, что русские мученики преодолеют напрочь интернационал — социализм и что Россия с презрением перешагнет столетия антихристианского интеллигентского мирового язычества, совершив рывок человечества Вверх. Так что отбросим "хитрости исторического разума" — хотя бы даже в ущерб почтенному Ричарду Пайпсу, непроситительно забывающему порой, что всего антихриста, как утверждал Вл. Соловьев, на одних пословицах не объяснишь.

Дав "отпор инстинктивной веры — одностороннему сомнению" недругов русского духовного возрождения, полезем, как говорится, дальше в кузов. Обилие неисеченных цитат позволяет по-своему интерпретировать их, выходя из рамок заданного использования материалов. Становится ясно, что уже в 1833 году В.Якимов в диссертации "О духе, в коем развивалась русская литература со времен Ломоносова" доказывал, что в основе русского национального характера лежат "христианское благочестие, благоговение к монархам и любовь к отечеству". Это не "выдумка" славянофилии, а истинное народное мировосприятие. И в деталях чувствуется. Многие позитивно проявляется: И.Киреевский, оказывается, до христоматийного Чернышевского сближал литературу с жизнью. Теперь ясно, что и Гоголь, давая свое определение народности, опирался, видимо, не столько на суждения Пушкина, сколь непосредственно на высказывания того же Киреевского. Но многое так и умалчивается или подается кособоко. Имя М.Загоскина все еще упорно обходят молчанием, коли не бранят. А ведь элементы "Рославлева" его безусловно сказались в освещении "Войны и мира", не говоря уже о такой мелочи, как внесение им раньше автора "Капитанской дочки" местного колорита в рассказ о народной старине. Именно он одним из первых среди русских писателей узрел опасность духа ложного самолюбия без Креста. Поэты и гримасы культурных межушников толкали тогда Россию в пропасть. Когда Чацкий вынужден был отправиться на край света в поисках правды, Загоскин изрек: "Нет... Один Бог может смягчить сердце неверующего... Что значат все рассуждения, трактаты, опровержения, доводы, все эти блестящие умы перед простым, безотчетным убеждением того, кто верует?" Загоскин, по-моему, и раньше Киреевского благословил о б щ е - Е в р о п е й с к о е, сочетающееся с русской о с о б е н н о с т ь ю. Затем уже мысль о необходимости "питаться европейскою жизнью, чтоб быть истинно русским" будет повторена Н.И.Надеждиным и упрочится в литературе. Но хорошо хоть В.Далю уделено в книге больше места.

С позиций образованщины осуждают теперь Солженицына, как в свое время Белинский славянофилов: дескать, богомольные старухи представляются образцами нравственности, созерцательных откровений и даже образованности и просвещения. Досталось когда-то от Белинского и К.Аксакову за "реабилитацию" людей, подобных гоголевским типам. Поди докажи, что в них есть необходимая для этого "полнота жизни" — полнота в смысле совершенства, гармонии. Так, эпос, мелея, переходил в описание и вместе с тем в украшение, в голое событие. Тот же Аксаков, в связи с мельчанием художественных форм, предвосхитит своим вопросом — "Уже и современное-то человечество не есть ли искаженная Греция?" — проблематику Манделштама. Достаточно подробно представлена гегелевская идея согласия материала искусства с формой. В оригинальном изложении К.Аксакова получается, что меняется только стиль, лишь способы обработки материала, принципы возведения его в степень искусства. Ос-

новы формализма. Ему же принадлежит и одна из первых теорий художественного образа. Спасти от Смутного времени, по его мнению, может лишь изгнание "лже-духа" — и чем скорее, тем лучше; иначе будет "не на что принять целенье" и духовная смерть неизбежна. Эту мысль, справедливо отмечено, примет Достоевский: скажем, в "Бесах" (линия "лже-духа" в лице Петра Верховенского и его "пятерки"; тема двух вер — истинной и той, которая "от гордости", — в лице Ставровича). "Об Руси память зарубал А.Хомякова "Клинок" — за восемь лет до лермонтовского "Поэта"...

Одним словом, увесистый труд, где **pro et contra** сошлись все-таки в благородном намерении суммировать факты и расширить знания, не заслуживает мелочных шпилек типа: а на 305 странице в слове "совпадающие" отсутствует буква "в". Возвращаясь к оценке Солженицыным явления "деревенской литературы" и связывая с ней грядущие надежды в тисках критики слева и справа, будем благодарны хотя бы за то, что в книге выявлены важные особенно теперь славянофильские усилия, направленные на борьбу за народное, крестьянское направление в русской литературе. "Художество, как выражение правды жизни, — воспользуемся А.Григорьевым, — не имеет права ни на минуту быть неправдою: в п р а в д е — его искренность; в п р а в д е — его нравственность; в п р а в д е — его объективность". Деление жизни на "правду" и "неправду" найдет место и в "Обзрении современной литературы" К.Аксакова, и в сути писаний современных авторов; взять хотя бы того же Шукшина с девизом: Нравственность есть Правда. "Положим, — говорит он, — общество живет в лиходе безвременье. Так случилось, что умному, деятельному негде приложить свои силы и разум — сильные мира идиоты не нуждаются в нем, напротив, он мешает им. Нельзя рта открыть — грубая ладонь жандарма сразу закроет его. (Хорошо, если только закроет, а то и по зубам треснет). И вот в такое тяжкое для народа и его передовых людей время появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый... (Это — цветики — Е.В.) И появились другие герои — способные действовать..." Еще до третьих петухов умиравший Шукшин спешил дать людям волю, Стенькой Разинным идя на неправду... "Светлые души" у Шукшина жили уже в упреке Ю.Самариным "натуральной школы": "Во имя какой-то мнимой истины, — писал он, — вы затемняете светлые стороны деревенской жизни..." Да, в благороднейшем смысле по-славянофильски думает Солженицын о России; ведь с другой-то стороны именно поэтому и не скрывается раздражение не просто утопичными архаистами, а основоположниками русского возрождения, как их и следует теперь интерпретировать; ведь именно славянофилы констатировали возникновение особого, "крестьянского" направления в русской литературе, которое открывает, по их словам, н о в ы й э т а п в е е р а з в и т и и и является важнейшим, если не сказать единственным, показателем литературно-художественного развития. Эти "черносотенцы", оказывается, благословляли "в с я к о е п л е м я на жизнь вольную и развитие самобытное".

Ввиду циркулирующих сейчас в печати диких поклепов на Гоголя и нелепых о нем домыслов, надо бы приветствовать переиздание книги, опубликованной первоначально в 1934 году, ставящей себе, казалось бы, целью объективно исследовать жизнь, личность и взгляды великого писателя.

К сожалению, мы в одной с первых же строк наталкиваемся на мысли если и не вчистую неверные, по меньшей мере вовсе бездоказательные.

Например: "Когда отец умирает в 1825 г. он пишет матери соболезнующее письмо в эффектно-риторическом стиле... Но едва ли Гоголь любил отца."

На основе того, что шестнадцатилетний провинциальный гимназист, пораженный внезапной катастрофой, составил надутое или неловкое письмо, — делать столь серьезные, даже страшные заключения! Но ведь в ту эпоху и письма, и стихи, и романы писались часто в ином тоне, чем в нашу; не всегда различишь в них искреннее чувство.

Чтобы решить, что сын не любил отца (что, конечно, бывает) нужны веские причины: сведения о спорах и ссорах, наказаниях, бунте против родительской воли (а ничего подобного про Гоголя и в помине нету). Или, хотя бы, данные о том, что у его отца был тяжелый, неприятный характер. А тут, наоборот, о нем известно по многим источникам, что он был человек добрый, веселый, культурный и талантливый... Такого отца трудно и не любить. Вряд ли не ближе к делу В. Авенариус, рисующий в своей старой книжке "Гоголь-гимназист" долгие сердечные беседы между отцом и сыном.

Столь же сомнительны и слова Мочульского: "Отца он знает мало, и в своем душевном развитии от него не зависит." Чем же это подтверждается? Гоголь потерял отца в 16 лет; это не то, что в 8 или 10. Он был уже юношей, внутренний мир его являлся уже более или менее сформированным. А что он учился в городе, — так ведь в течение долгих вакаций, праздников, он, несомненно, в условиях помещичьего быта, много времени проводил в семье. Может быть, однако, по его жизни видно, что отец на него ничем не повлиял? Опять же, скорее наоборот: отец был писатель, юморист, увлекался театром; сын всё это унаследовал. Жаль, между прочим, что Мочульский так кратко и суммарно говорит об истории рода Гоголя и об его более далеких предках.

Читаем дальше, и наталкиваемся на странно враждебное отношение биографа к выдающемуся человеку, чей образ он пытается воскресить. Мочульскому у молодого, перебравшегося в Петербург Гоголя "в письмах слышатся нотки самоуверенности и хвастливости, напоминающие манеру Ивана Александровича Хлестакова". Примеры совершенно не подтверждают этих жестоких, насмешливых выпадов!

Гоголь сообщает: "Все лето я прожил в Павловске и в Царском Се-

ле... Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я." Что же должен он был сказать, если оно и впрямь так было? А, очевидно, и было, вопреки плохо мотивированным сомнениям Мочульского.

Вот и фраза: "Мне любо, когда не я ищю, но моего ищут знакомства", совсем не самоуверенная и не наглая; а просто — в ней дышит чувство собственного достоинства. Шутка же в письме к матери по поводу того, что его квартира — на 5-ом этаже: "Сам Государь занимает комнаты не ниже моих" — каким сухим педантом надо быть, чтобы в ней найти какое-то чванство!

С тою же курьезной нелюбовью к Гоголю, Мочульский, трактуя об его встречах в Риме с польскими священниками, ухватывается за суждение о нем Вересаева, известного своими злобными, тенденциозными высказываниями о различных писателях, в частности, о Пушкине: "Единственная его цель была угодить богатой и знатной княгине Волконской, фанатичной католичке."

Почему не подумать гораздо более правдоподобного: что ему, как писателю и просто как любознательному человеку, хотелось ознакомиться с идеями католического духовенства и с настроениями польских националистов? Менять религию он не собирался, разумно считая, что догматическая разница у католиков с православными все равно невелика; и понятно, что когда его римские знакомые, ксендзы Кайсевиц и Семененко, стали настаивать, он от них отошел.

Мочульский не ставит себе задачи анализировать творчество Гоголя; и слава Богу! То, что он все же на эту тему говорит, поверхностно и слабо.

Фольклорные и фантастические мотивы "Вечеров на хуторе близ Диканьки" он сводит к подражанию немецким романтикам, не замечая того, что тогда ведь надо бы было объяснить, отчего Гоголь вознамерился подражать именно немецким романтикам и именно таким мотивам в их произведениях? Имелись ведь и иные школы в литературе, кроме романтической, и не все германские романтики писали о сверхъестественном!

Разбирая кризис Гоголя в 1833 году, Мочульский с пренебрежением отвергает мнение Кулиша, что тому содействовали какие-то личные огорчения, неприятности по службе или неудачная любовь, сводя всё к чисто творческому затруднению. Суждение довольно неглубокое: творческий кризис чаще всего на деле бывает связан с теми или другими личными переживаниями художника.

О теме "Гоголь и женщины" Мочульский ничего членораздельного сказать не в состоянии и сторит лишь неуклюжие предположения, ничего не дающие читателю.

В целом, рассуждения Мочульского о Гоголе определяются, главным образом, его собственными идеологическими позициями; в силу чего и информируют нас больше о взглядах и чувствах профессора К. Мочульского, чем о таковых Н. В. Гоголя.

Работа написана с платформы либерального русского интеллигента, пришедшего к вере, но политически оставшегося куда ближе к Белинскому, чем к Гоголю. Поэтому его оценки, вне религиозной сферы, совсем слабы; разбор, сколько-нибудь объективный и благожелательный, социальных и государственных концепций Гоголя (весьма, однако же, интересных!) он сделать определенно не способен; это остается на долю грядущих исследователей...

В частности, Мочульскому представляется особенно наивной и нелепой мысль Гоголя, что в русском образованном обществе люди стремятся делать добро и неумышленно делают зло. А ведь она, в свете будущих судеб России, право, заслуживала бы внимания!

Что до чисто богословских воззрений Гоголя, его отношений с духовенством (в частности, с о. Матвеем Константиновским), тут мы кое-что находим, — но более в плане фактических сведений, чем проникновенный в человеческие души...

В итоге, маленькая книжка Мочульского не богата содержанием; хотя, без сомнения, все любящие Гоголя прочтут ее с интересом (и с некоторым разочарованием).

КАТУСЬ АКУЛА. Барбара Амил. Исповедь. Торонто, Макмиллан, 1980.

K. AKULA. Confessions, By Barbara Amiel. Macmillan, Toronto, 1980.

Опубликованная весной этого года книга Барбары Амил "Исповедь" наделала много шума. Дело в том, что, основываясь на своих размышлениях и личном опыте, Амил пришла к выводам, которые затронули канадских "неприкасаемых" из т.н. истеблишмента: представителей власти, научных кругов, средств массовой коммуникации и — особенно — из "политичи мысли" — провинциальной комиссии по правам человека. Власть держащие не могли простить Амил ее "рenegатство": она осмелилась задеть не одну "священную корову". А ведь происходила она из того же самого истеблишмента, могла бы себе работать внутри него, промывая мозги народу для "общего блага", указывая дорогу к тому "светлому будущему", о коем так заботятся (опять же, для "блага народа") разные там комиссии...

Анализируя прежде всего автобиографический материал, Амил описывает множество событий и людей. За это обозвали ее — сначала "правифланговой консерваторкой", а затем — "фашистской сукой".

Думается, что метаморфоза Амил от воспитанницы, выросшей в коммунистически-еврейской атмосфере в Лондоне до "фашистской суки" и канадской журналистки была бы не завершена, не вздумай перевоспитывать "блудную дочь" комиссия по правам человека провинции Онтарио. Однаж-

ды пригласил ее в Торонто побеседовать вице-председатель этой комиссии рабби Гюнтер Плят и сказал ей: "Мы встревожены тем, что ты пишешь. Скажи, против чего ты выступаешь? Разве мы не верим в одно и то же? Почему ты не можешь принять наших идей?"

Еще до того Барбару Амил (сотрудничавшую в журнале "Маклинс") обвинили в... расизме, поскольку в одной из статей она использовала слово "шунны" применительно к немцам (в историческом аспекте).

Барбара Амил приехала в Канаду из Англии, окончила Торонтский университет, работала репортером на телевидении, а затем перешла в журнал "Маклинс". Прозрение во взглядах на коммунизм пришло к ней, когда она поехала на международный фестиваль молодежи в Хельсинки. По дороге туда, в Восточной Германии, увидела она серость, скуку и принудительную регламентацию жизни. Казалось бы, достаточно для разочарования? Но она — интеллеktуал. Ей нужна дополнительная аргументация. И Амил так описывает свою интеллектуальную одиссею:

"Теперь нельзя было прикрываться незнанием. Подобно новым философам в Париже, так хорошо описанным в книге Бернара Анри Леви "Варварство с человеческим лицом", я не только могла знать, но и з н а л а реальную суть левых. Я читала Солженицына, а до него — Камю, Оруэлл, Силонэ и Кестлера. Умудрилась даже прочесть несколько томов Гиббона, понимая, что никто так хорошо не уничтожает "новейших" идеологов, как историки прошлого. Я знала, что свет научного социализма омрачен кровью. Я убедилась, прочтя труды Гаека, фон Мизеса, Гаслита, Равеля и других выдающихся американских и европейских политических писателей, что системы демократического социализма так же уверенно ведут к духовному угнетению тоталитарных режимов, как и социализм, основанный на тирании.

Реальный конец иллюзии начался с чтения Маркса, Энгельса и Ленина. Годами я перерачивала груды книг в библиотеках Лондона, Нью-Йорка и Торонто. Я собрала основательную личную библиотеку: от венгра Лукача до американца Маркузе. Со времени, когда Двадцатый съезд КПСС обнажил варварскую суть сталинской России, я думала, что трагедию Советского Союза объясняет искажение марксизма. Искажение его Сталиным, ну, даже Лениным, который ведь создал жуткое Чека — тайную полицию.

Пришла пора докопаться до самых основ: Маркс, Энгельс, Ленин. Я путешествовала по книгам, которые должна была прочесть давным давно. Я встречала идеи, которые некогда принимала из вторых рук, через комментариши, критику и лозунги левых. Сначала я была ошеломлена, а потом ужаснулась. Как можно было симпатизировать такому недвусмысленному порабощению человеческого духа? Советский Союз не был искажением марксизма. Он был его воплощением. Иногда мне даже казалось, что Сталин был гуманнм истолкователем идей своего учителя."

Барбара Амил не задавалась целью написать социально-политический трактат. Ее задача была проще: показать закулисные маневры деятелей

канадского демократического социализма и куда они ведут. С юмором описывает Амил рассуждения некоторых представителей истаблишмэнта, которые предадут анафеме режимы Южной Африки, Чили, бывшей Родезии, Тайваня, но совсем иными глазами смотрят на СССР, КНР, Кубу и другие страны "научного социализма". Однако автора тревожит, что большинство канадцев просто не ориентируется в том, куда везет их управляемый либералами "государственный корабль" во главе с их капитаном — Трудо. Верная идея классического либерализма в духе Стюарта Милля, Барбара Амил отстаивает полную индивидуальную свободу, которой угрожает вторжение государственного механизма и репрессивные замашки коего год от году растут. Правда, пока еще нет психушек для инакомыслов, но вот раббы Гюнтер Плят уже может вызвать к себе и спросить: "почему не принимаешь наших идей?"

"Я не думаю, — пишет Амил, — что уже поздно пытаться спасти эту страну от социализма и этатизма, но день уже на исходе. Возможно, уже нельзя спасти ее от духовного и морального банкротства, в коем она пребывает. Банкротство ведь иногда выгодно, если его объявить. Не нужно заботиться о выплате долгов и устройстве дел с кредиторами. А наши законодатели уже несколько раз объявляли моральное банкротство. Мы пугаем таких малых сорванцов, как Южная Африка и Тайван, в чьем экономическом патронаже не нуждаемся и чье оружие направлено в другую сторону, для того, чтобы понравиться большим разбойникам вроде Советского Союза и Китая. Мы позволяем своему премьер-министру заявлять наперед, что не примем белых беженцев, если в Родезии начнется резня. Мы наблюдаем, как наш лидер обнимает Кастро, и одновременно отказываемся принять беженцев из полковничьего Чили..."

Любям, что покинули коммунистическую "зону" и оказались в Канаде, кажется, что здесь существует неограниченная свобода. Пиши, говори, делай что хочешь. Однако... Кто тебя пустит на широкую дорогу? Кто тебя услышит?..

Книга Барбары Амил показывает, как можно получить и голос, и отклик, и положение, если ты принадлежишь к той касте, которая уже давно манипулирует народным сознанием для "общего блага". И делается это очень последовательно. К чему оно приведет — нетрудно догадаться. 1984 год (по Оруэллу) не за горами.

Объявления

ИЗДАТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОК

выпускает в свет новую книгу :

Александр ГИДОНИ

СОЛНЦЕ ИДЕТ С ЗАПАДА

Это – увлекательное автобиографическое повествование, рисующее различные стороны советской жизни, участие автора книги в подпольном движении против режима, его тюремно-лагерный опыт, драматический поединок с КГБ и обстоятельства, приведшие его на Запад. Книга вклю-

Книга АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ "СОЛНЦЕ ИДЕТ С ЗАПАДА" включает 30 глав:

1. Костромская коллизия. 2. "На заре туманной юности..." 3. Дыша "оттепелью"... 4. Начало Подполья. 5. Канун ареста. 6. В тени Ленина. 7. Завязка тюрьмы. 8. Тюремные встречи. 9. На ринге следствия. 10. Мой "лейпцигский процесс". 11. После суда. 12. От Красной Пресни до Потьмы. 13. Странно-нестрашная Потьма. 14. Пять жарких сентябрьских дней. 15. Прелюдия в Саранске. 16. Детективная карусель. 17. Конец детективного блефа. 18. Сделка с дьяволом. 19. Операция "провал". 20. Круги по воде. 21. На финише лагерной жизни. 22. Поединок с бытом. 23. За кулисами дела ВСХСОН. 24. Моя последняя ставка. 25. Фигуры расставлены – дебют! 26. Перед решающим поворотом. 27. КГБ делает шах. 28. На весах диссидентской судьбы. 29. Патовая ситуация. 30. Мой "день Победы".

Принимаются предварительные заказы на книгу. Цена – 18 долларов. Заказы направлять по адресу "Современника".

SOVREMENNİK
PO Box 2217, Station 'C'
Toronto, Ontario
CANADA M3N 2S9



«НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ»

Подписывайтесь на еженедельник "НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ"! Издается в Нью-Йорке (США). Газета "Новый Американец" — одна из самых интересных и современных по духу среди газет русского Зарубежья. Главный Редактор — СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ. На страницах "Нового Американца" вы найдете актуальную политическую, культурную и научную информацию, интереснейшие статьи и литературные произведения, полезные советы.

Цена подписки на год — 35 долларов.

На шесть месяцев — 18 долларов.

На три месяца — 9 долларов.

Адрес "Нового Американца":

THE NEW AMERICAN

One Union Square, suite 214. New York. N.Y. 10003



Журнал "РУССКИЙ ЯЗЫК" (Основан в 1947 г.)

Главный Редактор — Профессор МУНИР СЕНДИЧ. Выходит три раза в год. Журнал "Русский язык" посвящен научным исследованиям по русскому языку и литературе и методам их преподавания в США и Канаде. В журнале публикуются рецензии на книги, профессиональные дискуссии, неизданные материалы, библиографии, указатели, пособия для преподавателей.

Годовая цена — 15 долларов в год. Чеки выписывать на:

Munir Sendich, Editor RUSSIAN LANGUAGE JOURNAL

A-706 Wells Hall Michigan State University East Lansing,
MI 48824 U. S. A.



Журнал белорусских военных ветеранов "ЗВАЖАЙ" выходит 4 раза в год на белорусском языке. Подписная цена — 4 (четыре) доллара. Заказы направлять по адресу:

ZVAZAJ, 57 Riverdale Ave., TORONTO, M4K 1C2

В СВЯЗИ С ВЫБОРАМИ В США

Редакция журнала "Современник" шлет свои поздравления Губернатору Рональду Рэйгану, избранному на пост Президента Соединенных Штатов Америки.

Мы надеемся, что в лице Рональда Рэйгана США получили человека, чьи государственные качества благотельно соседствуют с принципиальностью и мужеством; человека, который в состоянии вернуть своей стране авторитет подлинно великой державы и содействовать ее прогрессу как во внутренней, так и в международной политике.

То внимание, которое всегда уделял и уделяет Рональд Рэйган проблемам укрепления безопасности США как оплота Свободного мира, понимание им опасности мирового коммунизма и советской экспансии, внушают нам уверенность, что под руководством Президента Рэйгана Соединенные Штаты сделают 80-е годы нашего столетия временем стабильности, прогресса и усиления демократии. От души желаем Президенту Рэйгану успеха в его многотрудной и высокополезной миссии.

Редакция "Современника".

ЕГО ВЕДИЧЕСТВУ ШАХИНШАХУ ИРАНА РЕЗА ВТОРОМУ

Редакция "Современника" в 1979 году на страницах нашего журнала ("Современник", № 41, стр. 216) выражала сочувствие судьбе ныне покойного Шахиншаха Мохаммеда Реза пехлеви, отмечая его бесспорные заслуги перед Ираном как просвещенного и прогрессивного Монарха.

В связи с провозглашением сына Мохаммеда Реза Пехлеви Шахиншахом Ирана, мы посылаем Ему наши поздравления, надеясь, что Его готовность к борьбе против кошмарного режима Хомейни приведет к законной реставрации Монархии в Иране, обеспечив иранскому народу достойное его развитие на путях социальной справедливости, мира и процветания.

Редакция "Современника".

А Н О Н С ! ! !

В следующих номерах "СОВРЕМЕННОГО" будут опубликованы:

Окончание книги очерков НИНЫ МУРАВИНОЙ "Новые дороги и старые споры", заключительные песни "Поэмы без Предмета" ВАЛЕРИЯ ПЕРЕЛЕШИНА, глава из книги АЛЕКСАНДРА ГИДОНИ "Анти-Ленин", рассказы и пьесы П.ПЕТРОВА, очерки, рассказы и фельетоны Ю.БОРИКА, Е. ВАЛИНА, Л.ГЕНДЛИНА, В.ГЛЫБИННОГО, Н.МУРАВИНОЙ, В.ПРУССАКОВА, В.РУДИНСКОГО, Г.ШАХНОВИЧА и других авторов.

С т а т ь и:

ЕКАТЕРИНА КУЛЕШОВА. Психологическая аллегория в "Огненном ангеле Брюсова.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ. Кельтские мотивы в русской литературе.

ЕВГЕНИЙ ВЕРТЛИБ. Между "Сатириконом" и "Лолитой".

ТАТЬЯНА ПРОКОПОВА. Генеалогия личности в поэмах Лермонтова.

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. Каролина Павлова и Языков.

КЛОД БИССЕЛ. Канадская литература и национальная панорама.

Под новой журнальной рубрикой "Из прошлого русской эмиграции" будут опубликованы материалы Русского информационного бюро "риб": "Дела НТС и дело Трушновича".

Один из номеров следующего года будет посвящен Столетней годовщине со дня смерти Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО.

Примечание: Повесть Л.Фабрициуса "Страсти по Майку", начало которой было опубликовано в "Современнике" № 43-44, включена в недавно вышедшую в свет книгу избранных произведений Л.Фабрициуса. По этой причине редакция "Современника" считает нецелесообразным публиковать окончание этой повести в ее журнальном варианте.

По аналогичной причине (в связи с выходом отдельного издания книги Л.Гендлина "Расстрелянное Пятидесятилетие") "Современник" прекращает публикацию журнального варианта этой книги.



РЕДКОЛЛЕГИЯ "СОВРЕМЕННОКА":

К.И.Акула, П.М.Болдырев, Л.Е.Гендлин, А.Г.Гидони, Е.Л.Кулешова, Г.А. Румянцева, У.А.Самчук, Ю.Н.Харьян.

Представители "Современника" :

в США (Нью-Йорк) – П. Болдырев **Peter M. Boldyrev.**

P.O. Box 243. Valley Cottage N.Y. 10989 U.S.A.

в США (Бостон) – Ю.Кроль

Y. Krol, 53 Colborne Rd., Brighton, Ma 02135 USA

в США (Сан-Франциско) – Е. Вертлиб **E. Vertlieb.**

1060 Roosevelt St. Monterey, CA 93940 U.S.A.

Tel. (408) 649-3810

во Франции (Париж) – Е. Кармазин

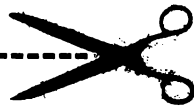
E. Karmazin. 21 rue de Chabrol. Paris, 10. France.

в Канаде (Монреаль) – Ю. Борик

Y. Borik, 5260 Victoria Ave., Apt. 1, Montreal, Canada

в Израиле – Л. Гендлин

L.Gendlin, Tapuz 3 / 8, Kfar Saba, Israel



ПОДПИСНОЙ КУПОН

Ваши Имя, Отчество и Фамилия
(Пожалуйста, печатными латинскими буквами!)

Ваш адрес:

Приложите Ваш чек или мани-ордер, выписанный на "Современник", и пошлите по адресу редакции: **SOVREMENNİK PO Box 2217, Station 'C'**
Downsview, Toronto, Ont. CANADA M3N 2S9

Пожалуйста, включите посылное пожертвование в Ваш чек. Это – Ваша реальная поддержка "Современника" – независимого русского литературно-общественного журнала, хранителя и продолжателя лучших свободлюбивых традиций великой русской литературы.

Подписка на 1981-й год: \$ 16 \$ 22 Пожертвование журналу: \$

Всего: долларов.

Ваша подпись:

Спасибо Вам !

О Г Л А В Л Е Н И Е

Содержание на английском языке	3
Английское резюме некоторых материалов номера	5

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. СТИХИ.

НИНА МУРАВИНА. Новые дороги и старые споры	6
АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. С т и х и	18
КАСТУСЬ АКУЛА. Гараватка. Главы из романа	23
ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. С т и х и	31
ЕВГЕНИЙ КАРМАЗИН. Писатель и экономика	35
В. ИНГУЛ. Фантазия. С т и х о т в о р е н и е	39
МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ. С т и х и	40

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЕКАТЕРИНА КУЛЕШОВА. О влиянии Владимира Соловьева на Блока и Белого	46
АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. Маяковский и Евтушенко	54
ВЛАДИМИР УФЛЯНД. С т и х и	64
ЭРНСТ-ИЕГУДА МЕНДЕЛЬСОН. Два стихотворения	65

ИСТОРИОГРАФИЯ И ФИЛОСОФИЯ

ТАРАС ГУНЧАК. Панславизм или панрусизм. <i>Окончание</i>	66
ДИМИТРИЙ ПАНИН. Жрецы режима. Явление Зиновьева	76
ОЛЕГ БУКОВ. "Континентовские" середняки	90

ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. СТИХИ.

П. ПЕТРОВ. Борис и Лиза. Новелла	94
АНТОН НИКОЛЬСКИЙ. С т и х и	98
ЮРИЙ ГРИГОРОВ. Герметизм поэзии или поэтизация герметичности? (<i>О творчестве Иосифа Бродского</i>)	99
ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. Два стихотворения	118
Н. ЗАМБРЖИЦКИЙ. Ученый мирового признания. (<i>К юбилею проф. Владимира Седуро</i>)	119
С. ТОЛ. С т и х о т в о р е н и е	124

Ф О Р У М

РУССКИЕ ПРОТИВ РУССИФИКАЦИИ	125
ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. Как отмечать юбилей?	127
З а м е т к и Р е д а к т о р а	130
А.Г. Иуда пишет некролог. Р е п л и к а	133
П и с ь м а в Р е д а к ц и ю (В.ИНГУЛ, П.БОЛДЫРЕВ, О.Б.) . . .	134
АЛЕКСАНДР УДОДОВ. Советско-китайская война?	138
В. ПРУССАКОВ. Русские пришли!	141
А. ГИДОНИ. Социальная инженерия: риск без риска	144
К. АКУЛА. Подтянем сатиру! <i>Стихотворный фельетон</i>	148
Х р о н и к а	150

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

<i>Юрий Григоров.</i> "Голос Зарубежья" № 13-17. <i>Всеволод Рунин.</i> Гюзель Амальрик. Воспоминания о моем детстве. <i>Евгений Вертлиб.</i> Литературные взгляды и творчество славянофилов, М., 1978. <i>Владимир Рунинский.</i> К. Мочульский. Духовный путь Гоголя. Париж, 1976. <i>К. Акула.</i> Барбара Амил. Исповедь. Торонто, 1980.	151 – 165
Объявления. Обращения. Анонс.	166
Содержание на русском языке	171

\$10.00

ISSN 0038-5948

"SOVREMENNİK" Publishing Ass., Inc.

**P.O. BOX 2217, STATION 'C'
DOWNSVIEW, ONTARIO, CANADA M3N 2S9**